



Федор Михайлович Достоевский

Дневник писателя

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174435
Дневник писателя: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-15906-2*

Аннотация

Как писателя и публициста Ф.М.Достоевского интересовало практически все происходящее в современном ему мире, все находило отклик в его творчестве. «Дневник писателя», помимо обсуждений самых различных тем, от глубоких философских и нравственных вопросов до анализа внешней политики держав, включает прямое обращение к читателю, как к непосредственному соучастнику событий своего времени. Для нашего же времени актуальность «Дневника писателя» заключается в пронизательности Ф.М.Достоевского, вскрывающей неизменную суть явлений.

Содержание

«Отчет о виденном, слышанном и прочитанном»	4
Дневник писателя. 1873	26
Вступление	26
Старые люди	29
Среда	33
Влас[20]	41
По поводу выставки	50
Мечты и грезы	57
Нечто о вранье	61
Одна из современных фальшей	67
Дневник писателя. 1876	75
Январь	75
Будущий роман	77
Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки	78
Золотой век в кармане	81
Мальчик с ручкой	82
Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей.	83
Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества	
Российское общество покровительства животным.	90
Фельдъегерь. Зелено-вино	
Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти	95
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Федор Достоевский

Дневник писателя

«Отчет о виденном, слышанном и прочитанном»

Литературная деятельность Достоевского была сопряжена с «тоской по текущему», другими словами, с глубоким интересом к современным событиям, характерным явлениям, выразительным деталям окружавшей его действительности. Наблюдая за всеми оттенками развития «живой жизни», он с неослабным вниманием следил за отражением ее проявлений в русской и иностранной периодике. По признанию очевидцев, писатель ежедневно просматривал газеты и журналы «до последней литеры», стремясь уловить в богатом многообразии значительных и мелких фактов их внутреннее единство, социально-психологические основания, духовно-нравственную суть, философско-исторический смысл.

Такая потребность диктовалась не только своеобразием романистики Достоевского, в которой органично сплелись вечные темы и злободневные проблемы, мировые вопросы и узнаваемые детали быта, высокая художественность и острая публицистичность. Писатель всегда испытывал страстное желание говорить напрямую с читателем, непосредственно влиять на ход социального развития, вносить незамедлительный вклад в улучшение отношений между людьми. Еще в издаваемых им совместно с братом в 1860-х годах журналах «Время» и «Эпоха» печатались его отдельные художественно-публицистические очерки и фельетоны.

Однако Достоевский намеревался выпустить сначала единоличный журнал «Записная книга», а затем – «нечто вроде газеты». Эти замыслы частично осуществились в 1873 году, когда в редактируемом им в это время журнале князя В. П. Мещерского «Гражданин» стали печататься первые главы «Дневника писателя». Но заданные рамки еженедельника и зависимость от издателя в какой-то степени ограничивали как тематическую направленность статей Достоевского, так и их идейное содержание. И вполне естественно, что он стремился к большей свободе в освещении «бездн тем», волновавших его, к раскованной беседе с читателями прямо от своего лица, не прибегая к услугам редакционных и издательских посредников.

С 1876 по 1881 год (с двухлетним перерывом, занятым работой над «Братьями Карамазовыми») Достоевский выпускал «Дневник писателя» уже как самостоятельное издание, выходившее, как правило, раз в месяц отдельными номерами, объемом от полутора до двух листов (по шестнадцать страниц в листе) каждый. В предуведомляющем объявлении, появившемся в петербургских газетах, он разъяснял: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном».

И в самом деле, на его страницах автор заводит пристрастный разговор, перемежающийся с личными воспоминаниями, о разных вещах и внешне вроде бы совсем не соприкасающихся сферах – о внешней и внутренней политике, аграрных отношениях и земельной собственности, развитии промышленности и торговли, научных открытиях и военных действиях. Внимание писателя привлекают железнодорожные катастрофы, судебные процессы, увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди молодежи. Его беспокоит распад семейных связей, разрыв между различными сословиями, торжество «золотого мешка», эпидемия пьянства, искажение русского языка и многие другие большие вопросы. Перед читателем открывается широчайшая историческая панорама пореформенной России: именитые сановники и неукорененные мещане, разорившиеся поме-

щики и преуспевающие юристы, консерваторы и либералы, бывшие петрашевцы и народившиеся анархисты, смиренные крестьяне и самодовольные буржуа. Читатель знакомится и с необычными суждениями автора о личности и творчестве Пушкина, Некрасова, Толстого...

Однако «Дневник писателя» – не многокрасочная фотография и не калейдоскоп постоянно сменяющих друг друга пестрых фактов и непересекающихся тем. В нем есть свои закономерности, имеющие первостепенное значение. Взять, к примеру, «детскую тему», дающую к тому же наглядное представление о стиле и методах публицистической работы автора. Присутствуя на рождественской елке в клубе художников, Достоевский внимательно всматривается в лица и манеры, изучает психологию мальчиков и девочек разного возраста. Но его наиконкретнейшие наблюдения тотчас же вырастают до пронизательных размышлений об облегченной педагогике, «обжорливой младости», «праве на бесчестье». Одновременно он не может не сравнивать поведение так называемых благополучных подростков с судьбами их обездоленных сверстников, живущих среди пьянства и разврата, гибнущих от голода и лишений. Писатель посещает воспитательный дом, колонию малолетних преступников, просиживает целыми днями на судебных заседаниях, где защищают интересы детей. Его страстные, психологически и нравственно обоснованные выступления в защиту их интересов не только помогают иной раз вынести более справедливый приговор, как в случае с молодой беременной женщиной, в состоянии аффекта столкнувшейся с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу, но и подвигают к раздумьям о взаимоотношениях «отцов» и «детей», об ответственности общества за воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее России.

Это характерное для каждой страницы «Дневника» столкновение личного и социального, конкретного и общего можно пронаблюдать – по тематическому контрасту – и в совсем иной области авторских рассуждений, рассуждений о внешней политике: о неприемлемости усиления милитаризма бисмарковской Германии, о коварстве правительственных действий Англии и Австрии и, в первую очередь, о необходимости деятельной помощи России угнетенным славянам. В 1875–1876 годах Герцеговина и Босния, а затем Болгария и Сербия восстали против турецкого ига. Государственные власти, испытывая давление европейской дипломатии, поначалу не решались выступить открыто на стороне восставших. В обществе же разрасталось добровольческое движение, в котором приняли участие представители всех сословий. Большую роль в этом движении играл славянский благотворительный комитет, организованный для помощи братским народам. Его членом был и Достоевский, неустанно призывавший со страниц «Дневника» к активной поддержке национально-освободительной борьбы славян и последовательно освещавший ее развитие. С точностью военных сводок он сообщает о ходе боевых операций, со знанием дела обсуждает замыслы европейских правительств или насущные проблемы тактики и вооружения, с глубокой болью рассказывает о мучительных страданиях болгар, особенно женщин и детей, с сердечной гордостью повествует о геройстве и благородстве добровольцев, о пожертвованиях русского народа в пользу угнетенных славян. Вместе с тем готовность к бескорыстной помощи, объединявшей людей поверх социальных барьеров и сословных границ и укреплявшей их души сознанием самопожертвования, наводила Достоевского на размышления о том, что Россия в будущем сможет сказать миру «великое слово», способное служить «заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, проигнося друг на друга ложь, хулу и клевету». Осмысля конкретные факты участия России в освободительной войне на Балканах, писатель приходит ко все более обобщающим выводам: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, то погибнут эти нации несомненно, очокаются, обессилеют и умрут».

И о чем бы ни заводил речь автор «Дневника» – будь то общество покровительства животным или литературные типы, замученный солдат или добрая няня, кукольное поведение дипломатов или игривые манеры адвокатов, кровавая реальность террористических действий или утопические мечтания о «золотом веке», – его мысль всегда обогащает текущие факты глубинными ассоциациями и аналогиями, включает их в главные направления развития культуры и цивилизации, истории и идеологии, общественных противоречий и идейных разногласий. Причем при освещении столь разнородных тем на предельно конкретном и одновременно общечеловеческом уровне Достоевский органично соединял различные стили и жанры, строгую логику и художественные образы, «наивную обнаженность иной мысли» и конкретные диалогические построения, что позволяло передать всю сложность и неоднородность рассматриваемой проблематики. В самой же этой проблематике он стремился определить ее этическую сущность, а также «отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения». По мнению Достоевского, всякое явление современной действительности должно рассматриваться сквозь призму опыта прошлого, не перестающего оказывать свое воздействие на настоящее через те или иные традиции. И чем значительнее национальное, историческое и общечеловеческое понимание злободневных текущих задач, тем убедительнее их сегодняшнее решение.

Такая работа, кажущаяся непосильной в наше время и целой редакции, полностью захватывала Достоевского и требовала от него огромного напряжения физических и духовных сил. Ведь ему одному необходимо было собирать материал, тщательно готовить его, составлять, уточнять, успеть издать его в срок, уложившись в заданный объем. Чрезвычайная добросовестность заставляла Достоевского по нескольку раз переписывать черновики, самого рассчитывать количество печатных строк и страниц. Боясь за судьбу рукописей, он сдавал их в типографию лично или передавал через жену, незаменимую помощницу, которая активно участвовала в подготовке «Дневника писателя» и в его распространении. После каждого выпуска Достоевский, по свидетельству очевидца, «несколько дней отдыхал душою и телом... наслаждаясь успехом...».

А успех действительно был огромным. Интерес читающей публики к столь оригинальному изданию с каждым выпуском все возрастал. Тираж «Дневника», расхोлившегося по подписке и в розничной продаже, постепенно увеличился до шести тысяч экземпляров. К голосу автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», авторитетного писателя, находившегося в расцвете своей духовной мощи и таланта, прислушивались представители разных слоев мыслящего русского общества. Его выступления, будившие в согражданах чувства совести, чести и справедливости, воспринимались как учительное и пророческое слово.

В адрес Достоевского стала поступать читательская почта. «К концу первого года издания „Дневника“, – вспоминает метранпаж М. А. Александров, – между Федором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспрецедентное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи в виде „Дневника писателя“. Некоторые говорили, что они читают его „Дневник“ с благоговением, как Священное Писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешить их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени».

Многие корреспонденты видели в авторе не только талантливого писателя, но и мудрого человека с чутким и отзывчивым сердцем, способного дать единственно правильный совет, уберечь от непоправимых поступков, обогреть душу. «Я скажу прямо, – писала ему революционерка-народница А. П. Корба, – что я жду от Вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего от боли; а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас стонами, то потому, что знаю, что лучшего врача не

найду». Другая читательница, благодарная заступничеству писателя за незаслуженно обиженных детей, признавалась: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Федор Михайлович, за Ваш февральский „Дневник“. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение, что спасибо Вам. Мать». А вот еще одно трогательное признание, сделанное подростком: «Для чего я Вам пишу, не знаю, меня тянет как-то безотчетно Вам написать, и бывает всякий раз, как прочитаю Ваш „Дневник“, – я чувствую Вас как бы родным, но высказать свои мысли – не умею».

Подобные отклики доставляли Достоевскому глубокое моральное удовлетворение, поддерживали силы в многотрудной работе. Впрочем, отклики были самые разные и содержали, например, просьбы об устройстве на службу, оказании материальной помощи, оценке рукописи начинающего писателя. Очень часто читатели обращали внимание автора на те или иные факты и вступали с ним в серьезный разговор, влиявший на подвижность литературной формы и стиля «Дневника». Достоевский нередко цитирует получаемые письма, анализирует их, соглашается или спорит с высказываемыми мнениями. Оценивая нравственное и творческое значение непосредственного общения с читателями, он замечал: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие себе угодно похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, – как бы более правды, как бы более **в самом деле**».

Что же касается профессиональных отзывов в печати, опосредованных идейными пристрастиями, то и в них, несмотря на имевшиеся разногласия, отдавалась дань гражданской самоотверженности, благородству намерений и проникновенности суждений автора «Дневника». Либеральные, консервативные, народно-демократические органы отмечали «высокую гуманность», «горячую веру в необъятную мощь народа» и «неподдельное сочувствие к его страданиям», «оригинальные, глубокие и светлые мысли» Достоевского. Правда, нередко раздавались голоса, что он, напротив, не знает народа, не понимает молодежи, не уважает дворянства и возводит «абсурдные обвинения» на русское общество. Независимость позиции озадачивала журналистов различных направлений, противоречиво менявших свое отношение к изданию. Внимательно изучая сочувственные и полемические отзывы, Достоевский в следующих выпусках уточнял ту или иную точку зрения, разъяснял свои выстраданные убеждения и таким образом становился едва ли не самым заметным участником идейной жизни России второй половины 70-х годов XIX века.

Однако в конце 1877 года Достоевский был вынужден приостановить печатание «Дневника писателя», чтобы целиком посвятить себя работе над романом «Братья Карамазовы». Намереваясь возобновить публицистическую деятельность с начала 1881 года, Достоевский тем не менее уже в 1880 году издал один выпуск со своей знаменитой пушкинской речью. Она была произнесена по случаю торжественного открытия памятника Пушкину в Москве. Произведения Пушкина были для автора «Братьев Карамазовых» предметом постоянных творческих раздумий. В героях этих произведений Достоевский видел не просто персонажей определенного исторического времени, а «колоссальные лица», воплотившие основные коллизии русской действительности XIX века. Особую заслугу поэта Достоевский находил и в том, что Пушкин сумел увидеть «смирненную красоту» русского человека, понять всю ценность народных идеалов и святых. Достоевский обнаруживает в творчестве Пушкина проявление «всемирной отзывчивости», залог возможного единения интеллигенции и народа, России и Европы, всего человечества.

Огромнейший успех речи на пушкинских торжествах и возникшая вокруг нее полемика свидетельствовали о все более возрастающей и духовно обеспеченной популярности Достоевского, убеждали его в насущной необходимости продолжать, как и задумывалось, издание любимого детища. Но удалось подготовить лишь январский выпуск «Дневника».

Уже умирающий писатель все еще волновался за его судьбу и вносил последние поправки в корректурные листы. Анна Григорьевна Достоевская вспоминала: «Среди дня стал беспокоиться насчет „Дневника“... пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на двух печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хотя я задержала метранпажа на полчаса, но после двух поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был послан в гранках Н. С. Абазе (цензору. – Б. Т.) и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился».

Читая «Дневник писателя» сегодня, не перестаешь удивляться, может быть, самому главному в нем – что и через сто лет многие авторские выводы не только жгуче актуальны, но и жизненно необходимы при совестливой, глубокой и по-настоящему реалистической проверке нравственного содержания тех или иных задач и соответствия выбираемых для их осуществления средств. И вряд ли стоит сомневаться, что они еще долго останутся актуальными, хотя действительность сильно меняется и неузнаваемо изменится в будущем.

Думается, тайна неумирающего значения необычной и непривычной для нас публицистики заключается не столько в ее точности и остроте, сколько в мудром проникновении в самую сердцевину рассматриваемых проблем, а также в единстве, которое обнаруживается в предельно разнообразном содержании. Поэтому, очерчивая тематический круг публицистики Достоевского с ее болью и тревогой, чрезвычайно важно выделить в ней руководящие идеи, раскрывающие внутреннюю логику порою невидимой связи несходных фактов, событий, явлений, обнажающие общие корни тех или иных «больных» вопросов жизни и подсказывающие пути их решения.

Публицистика Достоевского дает редкий и выразительный, но, к сожалению, недостаточно усвоенный урок многостороннего и предугадывающего понимания современной ему действительности. Пожалуй, более чем кто-либо из русских писателей он пристально всматривался в эту действительность, когда в пореформенной России совместились «жизнь разлагающаяся» и «жизнь вновь складывающаяся», когда «все вверх дном на тысячу лет». В одной из статей Достоевский так характеризовал создавшееся положение: «Прежний мир, прежний порядок – очень худой, но все же порядок – отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка – эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество – не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось...»

Новые условия оказались благоприятными для развития буржуазного индивидуалистического сознания, вытеснявшего традиционные духовно-нравственные ценности и способствовавшего разрастанию самозабвенного практицизма деловых людей с их полусознанным внутренним девизом «после меня хоть потоп»: «...материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу...»

При столь своеобразном понимании разумности, свободы и высшей цели естественно распадается семья, учащаются самоубийства, процветает пьянство. «...Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают... Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?»

Среди признаков неустойчивого переходного времени Достоевский с горечью наблюдал и отчужденность высших слоев общества и интеллигенции от народа, шаткость вековых убеждений и прекраснодушный гуманизм, идейный крах «старых» и теоретическую узость «новых» людей. Даже в нарождающейся архитектуре с ее огромными и высокими,

но обезличенными и обездушенными зданиями обнаруживается «какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей минуты».

Достоевского чрезвычайно озадачивало, что в эпоху «безалаберщины» и «великих обособлений» возникает «куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных». Однако сложность «теперешнего момента» усугублялась в его представлении тем, что «каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые решения задач хуже хаоса». Хуже потому, что не вылечивают социальные болезни, а лишь загоняют их вглубь. Не лучше и прямолинейные решения, страдающие воинствующей односторонностью. Как среди «старичков» и консерваторов, так среди «молодых» и либералов, замечает писатель, «народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, – и все прямо и прямо, все в прямой линии и в одну точку».

Будучи принципиальным противником скороспелых и прямолинейных решений, Достоевский тщательно изучал текущие явления в эту «самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа» в свете великих идей, мировых вопросов, всего исторического опыта, запечатлевшего основные свойства человеческой природы. Характеризуя собственную публицистическую методологию, он говорил о необходимости давать «отчет о событии: не столько как о новости, сколько о том, что из него (события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей». По его мнению, нельзя «уединять случай» и лишать его «права быть рассмотренным в связи с общим целым». В любой социально значимой деятельности «надо кореннее братья за дело», то есть исследовать генеалогию происходящего в сокровенных глубинах человеческой души. Проницательный ум писателя и был направлен в корни природы человека, скрыто питающие плоды его истории, в нервные узлы, а не периферийные окончания общественных процессов, жизненных зависимостей, интимно-личностных отношений. Это сущностное зрение, в высшей степени свойственное не только его художественным, но и публицистическим произведениям, позволяло лучше понимать, что можно ждать от человека, на что надеяться и чего опасаться в нем.

Достоевский отчетливо видел, как в процессе многовекового движения истории изменялся внешний облик человечества благодаря улучшению материальных условий его существования, что было обусловлено взаимосвязью интеллектуальных свершений и успехов в производстве, науке и технике. Однако в духовно-психологическом ядре человека оставались неискоренимыми властолюбие, зависть, тщеславие и другие эгоистические начала, вносящие дисгармонию в любые социальные отношения.

Достоевский страстно мечтал о такой целостности, когда люди, преодолев корыстолюбивые слабости своей натуры, могли бы искренне и простодушно обняться. «Выше этой мысли *обняться* ничего нет», – отмечено им в записных книжках. Без этой высшей цели автор «Дневника писателя» считал человеческое существование недостойным и бессмысленным, но вместе с тем он прекрасно сознавал неимоверные препятствия на пути к ней: «Я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного лучше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное».

Стать немного лучше – оказывается такой задачей, которая по идеальности и сложности неизмеримо превышает трудности покорения природы и ее приспособления для увеличения материального комфорта. Более того, выдвижение на первый план физического благополучия – что, по убеждению прямолинейно мыслящих теоретиков, должно создать основания для возвышения и облагораживания жизни – является, по мнению Достоевского, одной из капитальнейших причин многочисленных «недоумений» современной цивилизации и неоднозначно отражается на духовном состоянии человека. Предвидя грядущие гигантские результаты науки в деле преобразования природы, «приручения» вещей, Досто-

евский спрашивал в «Дневнике писателя»: «Что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека... – словом, ешь, пей и наслаждайся. „Вот, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уже более материальных лишений, нет более заедающей «среды», бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!..

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы». Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижениях*.

Эти мысли заставляют вспомнить многочисленные выступления последнего времени в периодике по вопросам вещизма и потребительства, дискуссии о подлинном и мнимом жизненном успехе и т. п. Рассуждение Достоевского более чем столетней давности по своей сути и глубине намного опережает размышления некоторых авторов подобных выступлений и участников подобных дискуссий. В этих размышлениях решение встающих проблем сводится иной раз к ускоренному и более справедливому, если так можно выразиться, насыщению материальных потребностей людей, в чем видится порою весьма расплывчатый и никак не определяемый критерий улучшения человеческих отношений.

По многоходовой же логике Достоевского, осыпанность счастьем и зарытость в материальных благах не только не освобождают сознание человека от повседневных забот для духовного совершенствования, не только не делают его прекрасным и праведным, но, напротив, гасят в нем высшую жизнь и устремленность ко всеобщим явлениям, превращают лик человеческий в «скотский образ раба».

Достоевский считал, что полное и скорое утоление потребностей понижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его еще сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних форм жизни, обостряющих многосторонность насладительных ощущений и связанных с ними «бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок». Все это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта развитию «имущественной похоти», нескончаемому наращиванию самих сугубо материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых обновляемыми вещами, что делает человека пленником собственных ощущений. По мнению писателя, люди, находясь в плену такого цикла, невольно соглашаются жить как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей. О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком – еще слишком долго будет привлекать человека на земле...».

В представлении Достоевского подобные «идеалы» далеко не безобидны для нравственного состояния личности и направления исторического развития, поскольку укрепляют в человеке «ожирелый эгоизм», делают его неспособным к жертвенной любви, потвор-

ствуют формированию разъединяющего людей гедонистического непонимания. И тогда «чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость... Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: „Всякий за себя и для себя“... все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие».

Глубокое понимание подобных нетривиальных причинно-следственных связей и непрямых закономерностей общественного развития позволяло Достоевскому еще в зародыше раскрывать нравственную половинчатость различных новоиспеченных идеалов, а точнее идолов, не искореняющих, а лишь иначе направляющих и тем усложняющих извечные пороки людей, приспособляющихся к ним. Таких идолов или «невьясненных идеалов» в системе его размышлений можно назвать еще «несвятыми святынями». «Я ищу святынь, – писал он, – я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее, не то стоит ли им поклоняться?»

Под несвятыми святынями в процитированных строках имеется в виду не всегда совпадающая с подлинной формальной справедливостью «юной школы изворотливости ума и засушения сердца» – так называл писатель судебную практику в буржуазно-демократических правовых отношениях, достоинством которых, как он полагал, необходимо отдавать должное, но нельзя их абсолютизировать. Правовой строй в его представлении направлен лишь на регулирование благопристойности внешних отношений между людьми, а не на внутреннее содержание, скрывающееся за этими отношениями. «Хитрый закон требует, чтобы соблюдена была при этом надлежащая учтивость». «Учтив буду, а хлеба не дам», – раскрывал Достоевский идолопоклонничество перед юридическим формализмом, в благопристойной оболочке которого склонность личности к дурным поступкам делается незаметнее, тоньше, изощреннее, что еще более укореняет изначальные слабости человеческой природы.

В записной книжке писателя есть такие слова: «Дуэль – приняв букву, мы расширили склонность к дурным поступкам». То есть имеется в виду, что внешне благородный кодекс не врачует, а распаляет самолюбие людей и доводит их разделение до убийства. Таких красивых «букв», превращающихся при бездумной фетишизации в «мундирные» идеи, Достоевский находил вокруг себя предостаточно – например, фальшивые лозунги свободы, равенства и братства, ведущие на деле к торжеству посредственности и денежного мешка. Чутье на такие перевертыши, когда за речами о правде скрывается ложь, за претензией на истину и здравый смысл – мошенничество, за стремлением к подвигу – злодейство и т. п., у него было необыкновенное. И он постоянно снимал позолоту с благородных по видимости формулировок, обнажал в них не всегда осознаваемые глубинные мотивы, не входящие в поле зрения «мудрецов чугунных идей» и «исступленной прямолинейности».

Поэтому важное значение в публицистике Достоевского имеет критическое рассмотрение внедряемых в социальное сознание репутаций различного рода деятелей, своеобразии которых заключается не в высоком духовно-нравственном состоянии их души, а в привилегированном социальном положении, в достижениях ума и таланта. Перед условными лучшими людьми, как он их называл, преклоняются как бы по принуждению, в силу их социально-кастового авторитета, который меняет свои формы при перестройке конкретно-исторических обстоятельств. Писатель и наблюдал как раз одну из подобных смен, когда от прежних условных людей «как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность» (княжеская, боярская, дворянская) и их место занимали

профессиональные политики, деятели науки, денежные дельцы... С беспокойством отмечал он, что никогда в России не считали новую условность – «золотой мешок» – за высшее на земле, что «никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время», когда поклонение деньгам и стяжание захватывают все сферы жизни и когда под эгидой этой новой условности наибольший авторитет приобретают промышленники, торговцы, юристы и т. п. «лучшие люди». Достоевский считал, что развратительнее подобного поклонения не может быть ничего, и с опасением обнаруживал везде его развращающее воздействие: «В последнее время начало становиться *жутко* за народ: кого он считает за своих лучших людей... Адвокат, банкир, интеллигенция».

К «лучшим людям», по его наблюдению, все чаще стали относить деятелей науки, искусства и просвещения: «Решили наконец, что этот новый и „лучший“ человек есть просто человек просвещенный, „человек“ науки и *без прежних предрассудков*». Но мнение это трудно принять по очень простому соображению: «человек образованный не всегда человек честный», а «наука еще не гарантирует в человеке доблести».

Противоречие между образованностью и нравственностью Достоевский относил к числу важнейших в новое время и постоянно отмечал его. «Или вы думаете, – обращался он к тем, кто видел в повышении образования панацеею от всех бед, – что знания, „науки“, школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков?» По его убеждению, своеобразие научной деятельности, требующей, казалось бы, самоотвержения и великодушия, обнаруживает тем не менее «низменность нравственного запроса, нравственного чувства», что не способствует духовному просветлению и душевному оздоровлению человека. Отсюда и естественное появление высокообразованных и прехитрых монстров с многосложной жадной интриги и власти, а также таких, например, вопросов: «Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске... Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какою-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей».

В эпоху всевозможных смещений и сложных сочетаний, коварных идолов и раздвоенности поведения Достоевский придавал особое значение духовной трезвости, нелегкому умению отделять зерна от плевел, способности распознавать еще в истоках порочные движения «натуры», нередко глубоко спрятанные под покровом самых благопристойных форм неосознанного эгоистического лицемерия, престижных видов деятельности или даже человеколюбивых идей. «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!»

По наблюдению Достоевского, наступили такие времена, когда со всей остротой и серьезностью встают проблемы честной неправды или искренней лжи, то есть бессознательной подмены подлинных ценностей мнимыми, безотчетно укороченного, непродуманного до конца отношения к разным вопросам жизни. В результате люди теряют способность замечать, «что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накапливающейся ложью!». Так, наивное

приятие условными лучшими людьми своей условности за нечто безусловное, самоотождествление с играемой в обществе ролью придает их поведению невольный оттенок обманывающего актерства. В их душе создается своеобразный «внутренний театр», поддерживающий естественность внешнего рисунка исполняемой роли и маскирующий пороки, что существенно усиливает взаимное непонимание представителей разных сословий и групп общества. Отрицательное значение игры в благородство, когда блестящая наружность поведения светских людей, правительственных чиновников, литераторов, артистов сочетается с «недоделанностью» их души, а над сердцем и умом висит «стальной замочек хорошего тона», писатель видел в том, что она вместо действительной «красоты людей» создает фальшивую «красоту правил», которая не только маскирует пороки, но и незаметно помрачает простоту души и «съедает» ее подлинные достоинства. Ведь по какому-то особому закону «буква и форма правил» незаметно скрадывают «искренность содержания», что мешает самосовершенствованию человека, укрепляет его «недоделанность».

Даже в таланте писатель находил часто неизбежную возможность излишней «отзывчивости» и «игривости», что опять-таки невольно усыпляет совесть, уклоняет от истины, удаляет от человеколюбия. Например, увлечение красным словом или высоким слогом постепенно мельчит ум и огрубляет душу у иного великодушного литератора или юриста. Вместо сердца у такого деятеля начинает биться «кусочек чего-то казенного, и вот он, раз навсегда, забирает напрокат, на все грядущие экстренные случаи, запасик условных фраз, словечек, чувств, мыслей, жестов и воззрений, все, разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь, погружается в спокойствие и блаженство».

Неразличение правды, основанное на искренней лжи, Достоевский обнаруживал и в необузданном оптимизме современных прогрессистов, возлагавших надежду при движении к всечеловеческому братству на успехи культуры и цивилизации. Однако при непредвзятом взгляде оказывается, что в результате цивилизации люди приобрели «коротенькие идейки и парикмахерское развитие... циничность мысли вследствие ее короткости, ничтожных, мелочных форм», окультурились лишь в новых предрассудках, новых привычках и новом платье.

К тому же набравшая силу буржуазная цивилизация порождает процессы, не побуждавшие к глубокой духовной культуре, которая преобразила бы весь строй душевного мира человека и эгоистических стимулов его поведения. «Война бывает каждые 25 лет. Не оставяют ее ни развитие, ни ничего... Так что прогресс и гуманность одно, а какие-то законы – другое».

Согласно этим неявным законам, прогресс и «гуманность», не имеющие достаточного духовного основания и ясного нравственного содержания, грозят обернуться и оборачиваются регрессом и варварством. Например, внешнее достижение благородной цели равенства людей не облагораживает их внутренне. Ведь «что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть...». И никакие договоры не способны предотвратить войны, если сохраняется подобное состояние человеческих душ, видимое или невидимое соперничество которых порождает все новые материальные интересы и соответственно требует увеличения разнообразия всевозможных захватов. В результате мирное время промышленных и иных бескровных революций, если оно не способствует преобразению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а, напротив, создает для них питательную среду, само вызывает потребность войны, «выносит ее из себя как жалкое следствие». Поэтому, считал Достоевский, необходимо трезво и, так сказать, заранее оценивать те или иные перспективы «хода дела», постоянно спрашивать себя: «В чем хорошее и что лучшее... В наше время вопросы: хорошо ли хорошее?»

Подобные вопросы вставали перед ним и тогда, когда он анализировал радикальные теории утопического социализма, основанные на утилитарных и рационалистических нача-

лах. Писатель считал, что вульгарно-социологические проекты «разумного» общественного устройства, основанные на равновеликой экономической пользе, не учитывают противоречивой глубины человеческой свободы, несовершенные движения которой изначально устремлены к расширению и возвышению своих прав, собственности, своеволия. По его мнению, всякое «научное» решение социальных вопросов без корректив на неоднозначную волевою глубину с ее тайными страстями грозит трагическими срывами.

Стремление достичь общечеловеческой гармонии «извне», с помощью ограниченных и не до конца продуманных теорий при отсутствии внимания к изначальному внутреннему несовершенству человека приводит к практическому банкротству этих теорий, с чем, предупреждал Достоевский, придется столкнуться будущим поколениям. Такая возможность казалась ему неизбежной еще и потому, что из поля зрения искателей справедливого общественного устройства ускользал и целый ряд других сверхрассудочных особенностей человеческого бытия, не поддающихся строгому логическому вычислению. Внимание писателя к подобным особенностям позволяло ему определить одно важное явление, которое он в зависимости от контекста и степени снижения нравственного содержания называл «лакейством мысли» или «волочением идеи по улице». Благородство и чистота помыслов всех тех, кто взыскует равенства и братства, могут, по его наблюдению, исказиться уже одной только торопливостью в выводах и обобщениях, принятием гипотез за несокрушимые аксиомы, бездумным, не позволяющим себе никакого анализа, воплощением гуманных идей, сопровождающимся огульным отрицанием тысячелетних традиций, исторических ценностей и народных идеалов. Когда же эти идеи «падают на улицу», то к ним примазываются «плуты, торгующие либерализмом», или интриганы, намеревающиеся грабить, но придающие своим намерениям «вид высшей справедливости». И в конце концов «смерды направления» доходят до убеждения, что «денежки лучше великодушия» и что «если нет ничего святого, то можно делать всякую пакость».

Закон искажения великодушных идей Достоевский рассматривал с законом их таинственного отражения, то есть безотчетного столкновения в самой глубине души человека ощущения их смысловой неполноты и чувства их реальной неосуществимости для каждой конкретной личности с требованиями абсолютной разумности. Роль унавоживающего материала для будущей гармонии невольно заставляет человека задумываться (с разной степенью отчетливости и осознанности) над тем, что «жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что назавтра же по достижении „гармонии“ (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же *нуль*, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, – эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество и – по закону отражения идей – убивает в нем даже самую любовь к человечеству».

Многосторонний анализ подобных законов показывал Достоевскому, что ни утопические теории, ни цивилизация, ни демократия, ни равновеликая для всех возможность «есть, пить и наслаждаться» не увеличивают область добра в душе человека и не подвигают его к братолюбию. Напротив, зло и эгоизм как бы переодеваются в процессе истории, приспособляются к новым условиям, становятся замаскированнее, изощреннее, следовательно, устойчивее, потенциально опаснее и страшнее.

Размышляя над этими вопросами, он отмечал в «Дневнике писателя»: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что в никаком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят от нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет еще ни лекарей, ни даже *судей окончательных* ...»

Раскрывая сложный духовный мир человека, многообразные движения его свободной воли, Достоевский обнаруживал, что все они, несмотря на неодинаковое содержание и разные сферы действия, направлены обычно к самосохранению, господству и наслаждению. И в бытовых, служебных, любовных взаимоотношениях людей, и во всеохватных принципах и идеях по видимости не похожих друг на друга «учредителей и законодателей человечества» естественные гордо-эгоистические и агрессивно-гедонистические свойства человеческой природы, если их «натуральность» не пресечена и не подчинена действительно укорененному в бытии высочайшему идеалу, ведут потенциально и реально к самопревозношению разнородных личностей, к их разъединенности и вражде.

Писатель внимательно изучал самые разные, казалось бы, мелочи (а на самом деле не мелочи!) окружавшей его жизни, часто находя в них, к своему сожалению, отражения вездесущих эгоистических стремлений к принижаящему других господству. Грубость, раздражение, «мелочное юпитерство», вызванное затаенным желанием отомстить кому-то за свое ничтожество пренебрежением и невнимательностью, особенно заметны «в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч.». Похожую картину можно наблюдать и на железных дорогах, где даже самый последний чиновник «смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу».

На таком небольшом примере писатель наглядно показывает, как разлагаются человеческие отношения и переворачивается всякий порядок, когда вольно или невольно выпячивается «Я» со своей жадой хоть крошечной, да власти. Он хорошо видел, что в эпоху «шатких семейств» и «скептических отцов», равнодушных к высшим ценностям, эта жажда особенно обостряется и рождает время «хотя великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера». И многие, хотя не пишут таких писем, являются в душе анонимными ругателями. Онтологическая и нравственная необеспеченность социальных целей при ослаблении основополагающих идеалов создает, считал Достоевский, благоприятные условия, препятствующие самоуважению человека в собственном его положении и развивающие завистливую «роковую заботу» отыскивать везде и всегда как можно больше людей хуже себя. Отсюда повсеместная гонка и непрерывное соревнование неутоленных честолюбий и обойденных самолюбий, а также наивное внутреннее недоумение: «Зачем, дескать, везде *они*, а не я, зачем не обращают и на меня внимания». Подобные стремления и чувства нередко могут не осознаваться, доставлять большие мучения, даже иной раз выливаться в крайние жестокости и немотивированные преступления, ну а чаще всего – превращаться в желание «просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить».

Достоевский подчеркивает, что тщеславие и зависть, питающие затаенную наглость и ждущую своего часа несправедливость, разъедают личность и вносят разлад в самые обычные бытовые отношения. Но то же самое происходит, как явствует из его размышлений, и на уровне личности той или иной нации, в масштабе межгосударственных отношений. И торжество эгоистических интересов здесь, затирающих нравственные начала, также не может продолжаться безнаказанно: «...позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь, а за ней и смерть».

Достоевский утверждал, что свобода как величайшая ценность человека есть и самый крупный камень преткновения, если она понимается как «разнузданность желаний», приво-

дящих к рабской зависимости от похоти, денег и ложных авторитетов, а в конечном итоге – к самоуничтожению. Подлинная же свобода заключается «в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином». Поэтому для достойной жизни как отдельных личностей, так и целых народов необходимо, по мнению писателя, умение справиться с собственной свободой, переплавить жизнеотрицающую силу мнимой свободы в жизнеутверждающую силу свободы действительной, направить ее центростремительно, альтруистически, к объединению с целым.

Такое перерождение от рабства к свободе, от своекорыстного к добролюбящему расположению души осуществимо лишь при глубоком переживании или ясном осознании возможностей и парадоксов природы человека и его истории. Оздоровление корней желаний происходит, по убеждению писателя, только тогда, когда человеческая душа полностью захвачена противоположным эгоистической натуре абсолютным идеалом, стирающим в ней все остальные «идеалы» и идолы.

Абсолютным и прекрасным идеалом, создающим непосредственное ощущение непобедимой красоты и отклоняющим природу от эгоистического своеволия, была для Достоевского, как известно, личность Христа, в которой, по его убеждению, воплотились свойства высшего и полного развития человека. В логике Достоевского безраздельная и беззаветная любовь Христа к людям, являющаяся главной силой идеала и как бы венчающим синонимом высшего и полного развития личности, предельного выражения ее свободы, есть одновременно и величайшее самостеснение, жертва, победа над «адамовой» натурой. Писатель постоянно подчеркивал, что основное свойство подлинной, духовной, любви заключается в ее бескорыстной жертвенности, полной самоотдаче ради предмета любви. В противном случае возникают ее суррогаты, выступающие в замаскированных формах чувственного эгоизма.

В эпоху Достоевского возникало много толкований духовности, много разных «нравственностей», которые скрыто или явно, осознанно или неосознанно, приспособлялись к порочным началам человеческой природы, а не искореняли их. Настоящая нравственность, по мнению писателя, противоположна множественности понятий и вытекает из «признания высшей красоты, служащей идеалом для всех». Только высшее, самое высшее, не уставал повторять он в своих статьях, – высшее сознание, высшее развитие, высшие цели жизни, вытекающие из «вековечного идеала», – отрывает человека от самолюбивых склонностей его природы и ведет «по дороге жизни» к действительному братолюбию. И не образованием, не внешней культурностью и светским лоском, не научными и техническими достижениями, а лишь «возбуждением высших интересов» можно перестроить глубинную структуру эгоистического мышления. «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится к будущему к целям вековечным, к радости абсолютной».

Без «великой нравственной мысли», считал Достоевский, невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и жизнеспособность личности, государства, всего человечества, поскольку только в ней человек постигает «всю разумную цель свою на земле» и осознает в себе «клик человеческий». Без обретения же смысловой полноты и высоты бытие человека оказывается неестественным и нелепым, связи его с различными проявлениями жизни становятся тоньше, а сама жизнь выливается в перекосы и катастрофы. Потому-то так тревожило писателя его время, когда с прогрессирующей быстротой стало повсеместно распространяться безразличное и даже нигилистическое отношение к высшим идеям человеческого существования как к «вздору» и «стишкам».

Но именно в потере вековечных идеалов, высшего смысла, высшей цели жизни, в исчезновении «высших типов» вокруг Достоевский находил первопричину подспудного раз-

лития нигилистической атмосферы, когда «что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование».

«Почему же мы дрянь?» – спрашивал Достоевский, вникая в эти неосознанные учения и безотчетные верования, и отвечал: «Великого нет ничего». В отсутствии представлений о величии и неслучайности человеческой жизни на земле он обнаруживал корни взаимообусловленных духовных болезней своего века.

Молодежь, считал он, не может остановиться на еде, чинах, поклонении подчиненных, везде и всегда она жаждала и искала положительных идеалов – во что верить, что уважать, к чему стремиться. Однако в семье, школе и у своих идейных руководителей она усваивает лишь скептический взгляд на высшие цели жизни, заменяемые более практическими интересами и современными задачами, которые имеют скудное нравственное содержание. Провозглашаемые при этом абстрактные призывы к справедливости и братству, поначалу увлекая юных людей, тем сильнее разочаровывают их впоследствии, когда оказывается на поверку ошибочным полагать, будто «добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений». Это разочарование приводит к ослаблению у молодого поколения чувства долга и обязанности по отношению к отцам и матерям, к принципам и убеждениям, в конце концов к тем же самым практическим интересам и современным задачам. У юношей и девушек теряется подлинная свобода, то есть становится все «меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося», и страдания от бессознательной тоски из-за бесцельной жизни приводят наиболее ранимых среди них к самоубийству.

Достоевскому казались легкомысленными и бесчестными те выступления журналистов, которые вместо указания на эти цели бездумно захваливали молодежь и заигрывали с ней для повышения собственной популярности, угождая ее сиюминутным требованиям. В результате «многие из молодежи... действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лесты и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу...». А это создает им дополнительные психологические препятствия для понимания «лжи и неправды почти всего, что считают светом и истиной», для осознания глубинных оснований их духовного неблагополучия.

В пренебрежении к высшим преемственным и объединяющим идеям определял Достоевский и главную причину разлада во взаимоотношениях отцов и детей. У отцов Достоевский не находил ни одной действительно великой, глубокой и сильной идеи, в которую они бы по-настоящему верили. «Рутина наша, и богатая и бедная, любит ни об чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины „обособляются“ в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат». Однако кружковая, искусственная и иллюзорная вера способствует образованию «случайных семейств», воспитание в которых не имеет достаточных духовно-нравственных опор.

Писатель подмечает, например, важную отрицательную особенность современной педагогики, озабоченной желанием обезопасить ребенка с самого рождения от любых затруднений и лишений, стремящейся облегчить ему всякое приобретение знаний и даже детские игры. Но ведь порою «облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем

самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то, ни се, ни доброе, ни злое...»

В теплохладном равнодушии облегченной школы и вырастает незаметно поклонение «вечному и глупому идеалу середины, вседозволенному самомнению и пошлому благоразумию», влияние которого может предупредить лишь воспитание, зароняющее в сердце «великие вопросы». По убеждению Достоевского, «без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь». Однако в действительности все происходит наоборот именно потому, что «общего нет ничего у современных отцов... связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить прекрасное в воспоминаниях детей».

Обретение же «великой веры» зависит от преодоления разрыва между поколениями и соединения, как подчеркивал Достоевский, с лучшими историческими традициями и подлинными святынями народа, которые осмеивались и презрительно отбрасывались «ходом дела» в буржуазном обществе. «В народные идеалы не верят многие, – отмечал он, – и не знают их, даже говорят, что лучше совсем без идеалов». Ампутация исторической народной памяти, обладающей, подобно совести и любви, «удлиняющими», восстанавливающими и связующими свойствами, и породила в ряду других причин «коротенькие идейки» и большие трагедии.

Воспроизводя логику деятелей полуобразования и полупросвещения, создававших из положительного знания новую разъединяющую силу и крепостную зависимость от «высокомерного просвещения», Достоевский писал: «Образование же его (народа. – *Б. Т.*) мы оснуем и начнем с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же начнем оболещать его... утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, – словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль... Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, – вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то – «устранить народ».

Обращаясь к инициаторам «парикмахерского развития», которые пытались учить народ поклоняться новым идолам и «новым предрассудкам», чреватым и новыми драматическими переворотами и разломами, Достоевский одновременно как бы обращался и к самому себе, ко всей интеллигенции: «нравственное-то, высшее-то что передадим народу», чем мы «нравственно, существенно» выше его? Цивилизация, повторял он, не может создать и укрепить братского общества. Оно «созидается нравственными началами, а в нравственных началах выше народ». Народная жизнь, по его представлению, полна сердцевины, силы, непосредственности и мысли, «а вот ее-то вы, стремясь в нее с вашей глупенькою культурою, и хотите уничтожить».

Достоевский не идеализировал народ, хорошо видел его недостатки, никогда не скрывал их, а, напротив, стремился выявлять для лучшего осознания и напоминания о их возможных последствиях. Например, его всегда настораживала чрезмерная широта русского характера, способность уживаться со многими уродливыми явлениями и раздвигать совесть «до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?». А ожидать можно, отвечал писатель, сплошного отрицания, вплоть до отречения от «самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего». В этом забвении всякой мерки во всем не только «русский Мефистофель», но и «иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот

вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в самые роковые минуты его жизни».

Вместе с тем писатель призывал судить о нравственной силе русского народа по той высоте духа, на которую он способен подняться. Несмотря на тяжелые исторические испытания, в самом зерне народной жизни сохраняются идеалы высшей красоты и правдивости, которые «и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее более сам, и верит, что все это – лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет».

Именно в народной вере в вечный свет Достоевский находил основу для настоящего просвещения, без которого неосуществимо «великое дело любви». Смысл подлинного просвещения выражен, по его мнению, в самом корне этого понятия, есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум, подсказывающий ему дорогу жизни». Такое просвещение и отличает, по его мнению, условных лучших людей от безусловных, которые познаются не социально-кастовой принадлежностью, не умом, образованностью, богатством и т. п., а наличием духовного света в своей душе, благоустроенностью сердца, высшим нравственным развитием и влиянием. К таким людям он относил испокон веков распространенных на Руси праведников, в которых ярко выражена «потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины». Народные святыни, а не науки и привилегии, отмечал писатель, указывают лучших людей. «Лучший человек по представлению народному – это тот, который не преклонился перед материальным соблазном... любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью».

При общем взгляде на публицистику писателя прослеживается взаимосвязь тех свойств, которые составляют «благородный материал», входят в «эстетику души» безусловных лучших людей, получивших истинное просвещение и способных стать братьями другим. Праведность, правдолюбие, глубокий ум, возвышенность, благородство, справедливость, честность, подлинное собственное достоинство, самоотверженность, чувство долга и ответственности, доверчивость, открытость, искренность, простодушие, скромность, умение прощать, органичность и целостность мировосприятия, внутреннее благообразие и целомудрие – эти духовно-душевные черты, свидетельствующие о внутренней победе над эгоцентрическими началами несправедливого строя жизни, определяют личности, перед которыми «добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть», перед которыми преклоняются «сердечно и несомненно».

Достоевский подчеркивал в этой взаимосвязи особую роль незаметно-«детских» и миролюбиво-«женских» качеств (от доверчивости до умения прощать), поскольку они с их чрезвычайно значащей незаметностью как бы предопределяют возвышающее и уравнивающее действие остальных свойств и полярно противостоят принижающим и вносящим дисгармонию самолюбивым началам. Соответственно погашенность любых агрессивных-захватнических проявлений составляет твердую сердцевину «плюсовых людей», которая, по убеждению Достоевского, защищает их от воздействия «излишеств и уклонений нашей культуры». Они принципиально сильны именно своей «слабостью», то есть органической расположенностью к добру и мужеством отказа распространять зло в мире в каких бы то ни было формах, даже в форме ложного добра и жизнотворчества. Отсюда и их историческая непрявленность, «тихость». Безусловные лучшие люди, отмечал он, «отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы...».

Летопись истории обычно заполнена героями, полководцами, историческими деятелями, иначе говоря, людьми выдающимися, которые, по логике Достоевского, неизбежно втянуты в сферу влияния разрушительной гордости и, следовательно, в разной степени являются носителями зла. Между тем в «рядовых» истории, в ее второстепенных персонажах наиболее определенно и вполне закономерно проявляются в несмешанном виде самые простые, но одновременно и самые глубокие нравственные чувства. И без «тихой истории» праведников, как бы нейтрализующих «шум» и «ярость» бурного общественно-исторического процесса, зло не имело бы никаких преград. В «тихой истории» и в утверждающих ее духовно-волевых качествах содержится предпосылка и принципиально иного жизнотворчества, из которого было бы искоренено до сих пор естественно входящее в самые разные его формы самопревозношение, не успокаивающее, а, напротив, постоянно разжигающее зависть и жажду первенства. Поэтому писатель призывал не стыдиться «наивных и простодушных форм, в которых народ „лучшего человека“ указывает», понять важное значение «незаметности» и «смирения» в созидании высокой духовной атмосферы общества.

Это значение связано и с излюбленной мыслью Достоевского о виновности отдельной личности перед остальными, виновности не юридической, а онтологической, основанной на признании изначального несовершенства человека и вместе с тем его сопричастности всему происходящему в мире. Каждый виноват в меру отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям. Следствия душевного мрака и эгоцентризма, различные по степени и содержанию, но неискоренимые до конца в любом человеке, по невидимым каналам разливаются вокруг. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки, как считал Достоевский, незримо отпечатываются в душах окружающих, распространяются все дальше и дальше в пространстве и времени, подвигая кого-то к зависти или гордости, к рабству или тиранству. Так накапливается и растет в мире отрицательный духовный потенциал, питающий происходящие в нем злодеяния.

Поэтому мудрое понимание собственной теоретической и практической ограниченности, изменение себя в сторону подлинного совершенствования, то есть увеличения света и бескорыстной любви к людям в своей душе, способствует согласованности целей и средств, препятствует смешению добра и зла, предопределяет движение к мировой гармонии «изнутри». Такой ход мысли дополнительно объясняет известный призыв Достоевского к «гордому человеку» в пушкинской речи смириться и потрудиться на родной ниве. «Победишь себя, усмиришь себя, – и станешь свободным как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь... нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, зlobен и горд...»

Достигая высшей свободы для служения великому делу, человек, по мнению писателя, своим личным благолепием существенно изменяет сознание других к лучшему, поскольку людей особенно нравственно ободряет живой пример соответствия слова и дела. И наоборот. «О том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести, – замечал Достоевский в записной тетради. – Представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: „Если уж эти, то... и т. д.“. То же и наука». Писатель призывал всех тех, кто взял на себя по роду деятельности ответственность сеять «доброе, разумное, вечное»: «Прежде чем проповедовать людям: „как им быть“, – покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут... Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага».

Достоевский считал, что не «начало только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно, поскольку идеал гражданского устройства, складываясь

исторически, является исключительно результатом «нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается... было так спокон века и пребудет во веки веков».

Таким образом, подлинное преуспевание общества в самых разных областях неразрывно связано с внутренним нравственным благоустройством его граждан. Говоря, например, о возможном изменении и оздоровлении чиновничьей деятельности, Достоевский подчеркивает: «Оппозиция бюрократии бьет мимо цели. Главного-то шагу и не видят... Сущность в воспитании нравственного чувства». Без учета этой сущности постоянное сокращение штатов приводит тем не менее к тому, что штаты парадоксальным образом как бы увеличиваются. Чиновники же, симулируя никак не определяемую нравственную активность, пытаются ограничиться косметическими переменами, ничего по существу не меняя и рассуждая про себя: «...мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее, ну там станем как-нибудь добродетельнее или что...» В результате освобожденный от крепостной зависимости народ не имеет самостоятельности и духовной поддержки, поскольку в земстве, общине, суде присяжных и в других демократических формах общества «тянет к чему-то похожему на начальство». Назначаются ревизии, устраиваются комиссии, выделяющие из себя подкомиссии. Дотошные наблюдатели, замечает писатель, подсчитали, что «у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движения».

Отсутствие «главного шагу» ослабляет, по мысли Достоевского, и различные экономические реформы, сияющиеся сию же минуту, «вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никак до того неожиданным предписанием начальства», улучшить текущую действительность, повысить бюджет государства, погасить долги, преодолеть дефицит. Однако при такой торопливости добиваются только «временной, материальной глади», воспроизводят в слегка подновленном виде лишь существующее. Эти «механически-успокоительные утешения» не приводят к «действительно гражданскому, нравственно-гражданскому» порядку и сохраняют общую атмосферу для тех, кто точит зубы на казну и общественное достояние, кто превращается «в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные и прикрывать себя юридически не станут». Нравственно-гражданский беспорядок при паллиативном экономическом процветании разлагает сознание наблюдающих его и укрепляет социальное нестроение. «Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному-де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану-де и я кулаком, – и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправницы тошно. Что же тут делать? Тут фатум».

Для преодоления этого фатума необходимо, утверждал Достоевский, направить внимание «в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности». Нужен «поворот голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор... Принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и освободить». Следует, считал он, хоть на малую долю забыть о сиюминутных потребностях, сколь ни казались бы они насущными, и сосредоточиться на «оздоровлении корней», другими словами, на создании условий для сохранения народных традиций и идеалов, для развития подлинного просвещения, для формирования безусловных лучших людей. Тогда появится надежда на соборное разрешение разногласий различных слоев общества, «всеобщего демократического настроения и всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху». Тогда и текущая действительность с ее безотлагательными задачами, финансовыми и экономическими проблемами может измениться не косметически только,

а радикально, поскольку сама подчинится новому принципу и «войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему». Тогда и нравственность выйдет из-под разрушительного управления экономики, которая (а вместе с ней науки, ремесла, техника) под ее воздействием станет более разумной и человечной, поскольку разумными и человечными станут и потребности людей.

По убеждению Достоевского, в числе новых принципов следует твердо усвоить, что нельзя искусственно подгонять историю и устраивать из нее водевиль (порою жестокий и трагический), что всякие, даже здравые, новшества не осуществляются в один миг, а их успех определяется «предварительной культурой», обогащенностью результатами духовного труда многих предшествующих по колений.

Надо помнить и не забывать, подчеркивал Достоевский, что истинный плодотворный результат любого дела зависит не от верного денежного расчета и не от деятельности мифического «нового человека», которого никто и нигде не видел и «новая нравственность» которого не поддается разумному уяснению, а от золотого запаса благородного человеческого материала, постоянно созидаемого растущими из древних корней и непрерываемыми духовными традициями. «Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры сам отлично преподавать педагогию, а все-таки педагогом не сделается. Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну, а на века надо время, годков эдак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельной жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею историческою жизнью страны».

Достоевский не сомневался, что нравственные начала являются основой всему, в том числе и благополучию государства, хотя оно на первый взгляд кажется зависимым от выигранных битв или хитроумной политики.

Для достойной и долговечной жизни народам и государствам, полагал писатель, необходимо свято хранить высокие идеалы, ибо «как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться... Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органично связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят! *Сами же по себе* никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось».

Следовательно, политика чести и великодушия, которая подчиняется «нравственному стремлению» и которую не следует разминивать на торопливые барыши, есть «не только высшая, но, может быть, и самая *выгодная* политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и непрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь всегда кончали тем, что всегда торжествовали. А если и не кончали тем, то кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди».

По логике Достоевского, принципы «святости текущей выгоды» и «плевок на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клочок» могут временно давать определенные материальные результаты. Но они же порождают захватнические войны, духовно развращают нации и в конце концов губят их. И наоборот. Вера в вечные (а не условно-выгодные) идеалы придает политике духовный смысл, поддерживает нравственное здоровье и величие нации. В таком случае войны, если они вынужденны, носят исключительно освободительный характер и преследуют лишь «великую и справедливую цель, достойную великой нации».

Именно в контексте нравственно состоятельной политики рассматривал Достоевский в «Дневнике» бескорыстную помощь России борьбе балканских славян против турецкого ига. По мнению писателя, подлинная выгода русского государства заключается в том, чтобы всегда поступать честно, идти даже на математически явную невыгоду и жертву, лишь бы не нарушить справедливости.

История показывала Достоевскому, что Россия сильна «идеями, завещанной ей рядом веков», «всецелостью и духовной нераздельностью» народа, способного в годину суровых испытаний проявить величайшую волю ради подвига великодушия. Дойдя «до последней черты, то есть когда уже идти некуда», русский народ преодолевал роковые раздоры и тяжелые страдания благодаря «единению нашего духа народного», без которого и политика, и наука, и техника, и оружие оказались бы беспомощными. Писатель призывал всемерно сохранять это единение не только в кризисные моменты истории, но и в повседневной жизни и не разменивать «великие мысли» на третьестепенные соображения. Ведь только тогда пробуждается и поддерживается в сердцах людей вера в высокое предназначение России, «вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажда служения человечеству, – нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций...».

Залоги такой жизни Достоевский находил и в вершинных достижениях русской литературы, которая «в лучших представителях своих, и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась пред народной правдой, признала идеалы народные за действительно прекрасные», что и определило ее историческое значение. Это значение проявилось прежде всего, по его мнению, в творчестве Пушкина, отличавшемся наряду с художественным совершенством «всемирной отзывчивостью», подлинным национальным своеобразием и философско-психологической глубиной. Сходным образом он оценивает, например, и роман Льва Толстого «Анна Каренина»: «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *впоследствии и своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, – вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени».

Вообще следует подчеркнуть, что в своих публицистических статьях писатель рассматривает вопросы литературы, как и все другие, в нравственной доминанте, неразрывной связи с социальными и насущными проблемами жизни. Искусство представляет для него своеобразный сгусток человеческой деятельности, не только концентрированно отображающий в себе типичные процессы в обществе, но и освещающий их высоким духовным светом. «Искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнуется общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы».

Казалось бы, при такой постановке вопроса на первый план должна выйти литература «с направлением», обличающая пороки и указующая пути их исправления. Однако, по

убеждению Достоевского, художнику не стоит «вытягивать из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению», а необходимо дать возможность излиться и развить естественно просящиеся из души образы. Ведь «всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь „направительное“... окажется гораздо полезнее для его же целей... в истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть истинного направления и верной мысли». Такие отличающиеся естественной правдивостью и столь же непринужденной нравственностью произведения, в которых писатель дает свободу своим чувствам и «своей идее (идеалу)» и тем самым усиливает полноту эстетической реальности, Достоевский называл литературой красоты и противопоставлял ее литературе дела и литературе сплошного отрицания, скованных своей заданностью и предвзятостью и не имеющих «положительного идеала в подкладке». Литература дела полна неясных и путаных исканий, поскольку «дело еще не разъяснено, лишь мечта». Что же касается сугубо обличительной литературы, то она и вовсе лишена всякого созидательного начала, способна возбуждать к ненависти и мести, «нужна тем, кто не знает, за что держаться, как быть и кому верить... Положительный идеал мешает их (авторов нигилистических произведений. – Б. Т.) пороку, а отрицательное ни к чему не обязывает».

Не отражая «прямо» и «направленно» злободневные события и факты действительности, литература красоты тем не менее и создает как раз образы, вбирающие в себя наиболее существенные черты текущей жизни. Татьяна Ларина и Евгений Онегин Пушкина, Пирогов и Хлестаков Гоголя, Потугин Тургенева, Влас Некрасова, Левин Толстого становятся в статьях Достоевского своеобразными символами, помогающими ему проникательнее анализировать духовное состояние общества и тенденции исторического процесса. Он глубоко ценил такие выразительные типы и сожалел, что мельчающая словесность теряет способность их создавать. «Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала... Даже и в исторический-то роман, может, потому ударились, что смысл текущего потеряла». Достоевский считал, что необходим талант, равный, по крайней мере, гоголевскому, чтобы выявить и обобщить, например, тип анонимного ругателя с его непомерным самомнением при затаенном самонеуважении или тип бездарного и тщеславного невежды, воображающего себя великим деятелем и непревзойденным гением. «Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? – и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего не разберешь. Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, – ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно зародившийся; художественная литература его еще не затрагивала...»

Художественное обобщение социально-психологических причин появления подобных говорунов, задуривающих сознание больших масс людей и замутняющих ход жизни, тем более важно, что оно одновременно оказывается и одним из путей преодоления их воздействия, уяснения подлинных ценностей. В литературе, как и во всякой другой деятельности, Достоевский стремился выделить главное и значительное для понимания природы человека и творимой им истории. И в своей неповторимой публицистике он также исследует тесную пульсирующую взаимосвязь между законами человеческого духа и законами общественного организма, что позволяло ему предвосхищать объективную, независимую от индивидуального произвола и субъективных представлений различного рода позитивистов, логику развития жизни, предсказывать за многие десятилетия конечные результаты определенных

социальных процессов, предупреждать о тупиках грядущей мировой истории. «Ясно, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, о который оно наткнется и остановится. Этот забор – есть нравственное состояние общества, крепко соединенное с социальным устройством его...»

И потому высшим нравственным сознанием, качеством святынь и совестью человека, его способностью искренне побрататься с другими, пожертвовать не только лишним, но и хлебом насущным измерял Достоевский намерения и истинность достижений людей, всякую их деятельность, направленную на преодоление жизненного несовершенства. Но подобное преодоление может быть, по его убеждению, сколь-нибудь успешным лишь тогда, когда все проявления зла, особенно завуалированные одеждами добропорядочности, будут открыто обнажаться в душе человека, а не откладываться за слоем благопристойных форм на глубине ее дна.

Лишь выпукло обозначив ростки зла в ядре внутреннего мира, человек может направить свое внимание и силы на их искоренение, предотвратить их органический рост и распространение, нащупать и разрушить мосты между эгоистическими свойствами «натуры» и ложными идеями, предупредить девальвацию таких высоких понятий, как идеал, свобода, братство.

В представлении Достоевского выбор пути всего человечества неотделим от самоопределения отдельной личности. Ведь линия, разделяющая добро и зло, проходит «не за морем где-нибудь», «не в вещах», «не вне тебя», а через все человеческие сердца, через каждое сердце. И публицистика великого русского писателя приглашает читателя заглянуть поглубже в свою душу и непредубежденно посмотреть на свои дела, чтобы определить, куда направлены растрчиваемые нами силы, – идут ли они на «самоукорачивание», превращение человека в «скотский образ раба» или на «самоудлинение», восстановление в человеке «образа человеческого».

Выпалывая сорняки из собственной души, обнаруживая «глубоко запрятанную» мощь любви, которая «есть в каждом из нас», любая личность тем самым способствует победе над «прежним животным» и возвращению «воистину новых людей», вытесняет космическое зло из вселенной, участвует в разрешении будущих судеб человечества. И в этом Достоевский не видел ничего фантастического. Надо только хорошо помнить, подчеркивал он, что «силен может быть один человек», что в его мыслях и поступках «бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений» и что «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается».

Борис Тарасов

Дневник писателя. 1873

Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, – мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»,¹ сам же, напротив, стал отлично писать статьи, – так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и – к удивлению – понятно; да и то если принадлежат извест-

¹ я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»... – Речь идет о романе В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков».

ному перу.² В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже в тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими – наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»³ – и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседозволенное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, – нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

– Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

² ...принадлежат известному перу. – Имеется в виду редактор – издатель «Московских ведомостей» М. Н. Катков.

³ «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»... – Иронический намек на покаянные слова Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, – не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение – «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье⁴ о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

– И мне особенно нравится, – заметил я между прочим, – что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

– Да ведь в том-то и вся штука, – засмеялся Герцен. – Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.». (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоче. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

– Ну что, как ты думаешь?

– Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

– Зарезал! Зарезал!

⁴ ...Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье... – Михаил Петрович Погодин (1800–1875) – историк, профессор Московского университета. Речь идет о статье Погодина «А. И. Герцен» (Заря. 1870. № 2).

Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde*⁵ прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора года жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великодушный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был – писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, – всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, – Белинский был вовсе не *gentilhomme*, – о нет. (Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.)

⁵ Русский дворянин и гражданин мира (франц.).

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись – от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, – именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка⁶ в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазных основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «*Vie de Jésus*»,⁷ что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которого нельзя уже более повториться даже и в будущем.

– Да знаете ли вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского,⁸ которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.⁹

⁶ *Интернационалка* – Международное товарищество рабочих, I Интернационал.

⁷ «Жизнь Иисуса» (франц.).

⁸ ...один из друзей Белинского... – Вероятно, писатель и критик В. П. Боткин.

⁹ ...начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе... – И. С. Тургенев.

– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стусеивался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

– Ну не-ет! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) – Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

– Ну да, ну да, – вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Занд,¹⁰ теперь совершенно забытый Кабет,¹¹ Пьер Леру¹² и Прудон,¹³ тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье¹⁴ уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, – Фейербах.¹⁵ (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе¹⁶ говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой *m-me* Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, – не от сомнений, не от разочарований, о нет, – а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

– Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорожкою:

– А вот как зароят в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи

¹⁰ *Жорж Занд* (Санд) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876).

¹¹ *Кабет* – Этьен Кабе (1788–1856) – французский коммунист-утопист.

¹² *Пьер Леру* (1797–1871) – французский философ, один из основателей христианского утопического социализма.

¹³ *Прудон* Пьер Жозеф (1809–1865) – французский публицист, теоретик анархизма.

¹⁴ *Фурье* Шарль (1772–1837) – французский социалист-утопист.

¹⁵ *Фейербах* Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист.

¹⁶ *Штраус* Давид Фридрих (1803–1874) – немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835–1836), пользовавшейся в России большой популярностью, несмотря на то что она была запрещена.

сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастливыми», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастливые», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, – все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу – в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберешь, – но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора нобльменов¹⁷ и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, – не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишена некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», – разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как

¹⁷ *Нобльмен* – человек высшего сословия, от английского nobleman – дворянин, пэр.

случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) – но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством и что нравственные основы страны всё те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

– Даже хоть и предположить, – слышится мне голос, – что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) всё те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, – хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

– Конечно, есть правда в вашем замечании, – отвечаю я голосу, несколько повеся нос, – но ведь опять-таки русский народ...

– Русский народ? Позвольте, – слышится мне другой голос, – вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, – и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердость, как изволите вы насмеяться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, – мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», – рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно, почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит

теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

– Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табу человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табу. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

– Ну, вы, однако же, – слышится мне чей-то язвительный голос, – вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до „среды“, то есть сплошь-то всем, – задумываюсь я, – но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»

– Вот на! – хохочет язвительный голос.

– А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

* * *

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастливыми», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли

правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, – до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастием, преступников – несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно* – может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, „несчастные“, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы – сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастье преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление – это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не

откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет „преступления“!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решенных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и – «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, – о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, – легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде – как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» – вот что он скажет *в конце концов*. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов;¹⁸ на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь – там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». – «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и – почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности

¹⁸ *Абсентеисты* – так Достоевский называл русских, живущих за границей, от латинского *absentia* – отсутствие.

какого-нибудь горохового киселя, ступите – и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» – ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения – одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите перед ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще – с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду – веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это *мой* хлеб», – чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца – поедят, не дадут – сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»?¹⁹ Я ведь не говорю, что была, – и было бы это очень смешно утверждать, – но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто

¹⁹ ...Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»... – героини трагедии «Ромео и Джульетта» (1595), комедии «Много шума из ничего» (1598) Уильяма Шекспира, трагедии «Фауст» (1808–1832) Иоганна Вольфганга Гете.

очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», – кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, – баста! Отходит, садится за стол, вздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом – важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но *достойн снисхождения*».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достойн снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

– Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целостности, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, – согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

– Да подите! – восклицает вдруг давешний язвительный голос. – Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Всё напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это *мой* хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» – это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь *почти* то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», – настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

Влас²⁰

Помните ли вы Власа? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас – старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на Божий храм...

У этого Власа, как известно, прежде «Бога не было»;

...побоями
В гроб жену свою вогнал,
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал.

Даже и конокрадов, – пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,
Видел грешников в аду:

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза,
Ефиопы – видом черные
И как углие глаза.

.
Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...

Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», – продолжает поэт.

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать.

О поэт! (к несчастью, истинный поэт наш) если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами, про которые

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать, —

²⁰ Достоевский использует стихотворение Н. А. Некрасова «Влас» для высказывания своих любимых идей о русском характере и национальных идеалах.

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабьих пустяков

Вырастают храмы божии
По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою Влас, но серьезность его страдания вы все-таки поняли; все же вас поразила величавая фигура его. (Да ведь и поэт же вы; не могло быть иначе.)

Сила вся души великая
В дело Божие ушла, —

великолепно говорите вы. Хочу, впрочем, верить, что вы вставили вашу насмешку невольно, страха ради либерального, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смирения Власова, эта потребность самоспасения, эта страстная жажда страдания поразила и вас, общечеловека и русского *gentilhomme*'а, и величавый образ народный вырвал восторг и уважение и из вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И собирать на построение
Храма божьего пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро *тридцать* лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.
. . .
Полон скорбью неутешною
Смуглолиц, высок и прям,

(чудо как хорошо!)

*Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.
. . .
Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.*

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто вместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни.²¹ А впрочем — не кривлялись вы и «на Волге», разве только немножко: вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общечеловеку. Видите ли-с, любить общечеловека —

²¹ ...точно это не вы, а кто другой вместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни. — Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «На Волге».

значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (в его целом, уж извините меня) стихотворении вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи – исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно их – про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так как мы живем в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нем зиждется рассказ. Эти монахи-советодатели бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере, повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности, тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раздавленною отчаянием душою, которая уже и не ждет себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит о нем своему священнику-духовнику, – не от страха или недоверия, а просто в совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг про какого-нибудь такого монаха-советодателя и пойдет к нему.

«И вот, – говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, – выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаенными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь необходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности...»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

– Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал – все одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

– Собрались мы в деревне несколько парней, – начал он говорить, – и стали промежду себя спорить: «Кто кого дерзостнее сделает?» Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз:

– Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

– Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

– Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдешь к причастью – причастье прими, но не проглоти. Отойдешь – вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

– Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес.

– Заряди.

Зарядил.

– Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Происходило это еще за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя – старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз». Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора. Я всё того мнения, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, *новая* черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

* * *

Во-первых, мне именно удивительно – удивительно всего более – самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает?» Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, – может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговееющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что

обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения. То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Эту жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он вздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы – народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовет «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет «караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и opakостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй, и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до края, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «Кто сделает дерзостнее?» – и какими причинами сложилась возможность подобного состязания – осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали – один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительное: или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось, чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

– Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

– Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода – разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет, и искуситель его знал, что на этот раз серьезно говорено, впрямь пойдет.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже, и ружье и огород, и держал только в страшной тайне – в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проницало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но – «был же и я на таком верху!..».

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицаньем и гордостью – ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своем. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было еще нечто совсем особенное – мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противоположностей. Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но еще продлил борьбу, и, наверно,

он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепenea от страха до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненною злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, – начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте еще, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны: она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней, до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, – и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что зарядание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс зарядания ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри²² кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!»²³ В двадцать раз

²² Дюбарри Мари-Жанна (1743–1793) – фаворитка французского короля Людовика XV.

²³ «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» (франц.)

она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что зарядание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «*encore un moment*», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент – вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения – все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему... все кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным прояснением ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искуситель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, – черт знает, может быть, из ученого наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время все возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, – если только в ней есть интерес, – лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутеж» еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклеиваются и теперь даже факты... Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова»²⁴ в настоящий момент несо-

²⁴ «Птенцы гнезда Петрова» – эти слова из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» Достоевский использует для обозначения образованного дворянства, сформировавшегося в России после петровских преобразований.

мненна. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

По поводу выставки

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского – ну, «Свои люди – сочтемся», или даже любую, – и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, – и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща. (NB. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» – произведение уже значительное.) Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь – посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни), заляешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, – все это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения, тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы неизвестно. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык – и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемой. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неизвестнее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное... Вернее же (скажут многие), что европейцы мало

знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую склонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебности к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и – вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил тарашимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скудная природа»,²⁵ вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем – лес; оттуда – туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто пронизывает всего, вы почти ее чувствуете, и на середине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, – самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.

Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, – не могу судить) не произведет, по-моему, за границею слишком сильного впечатления. Но жанр, наш жанр – в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами и, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем оба они, видимо, уже раскисли от наслаждения – самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает

²⁵ «Эта скудная природа»... – строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...», особенно любимого Достоевским.

трель... Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостью (нельзя же-с)... Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж очень хорош у него соловей!». Чай кончится, и начнется торг... Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец <...> Может, кто и растолкует, в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти – рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее – это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, поймем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же, немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.

Ну вот в эстонской или лифляндской каюте игра в карты – это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна; но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! Конечно, растолковать – так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Всё это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен!», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное.

Ничего даже нет смешнее, как предположить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен»! Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так... что тут что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, – поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», – поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для *его же целей*, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда,²⁶ а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное – золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова²⁷ – решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приившая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая» (что, впрочем, совсем уже невозможно), – знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться... Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у

²⁶ ...окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)... – Имеется в виду статья Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки», где упоминается стихотворение английского поэта Т. Гуда «Песня о рубашке», изображающее тяжелое положение женщины-швей и направленное против эксплуатации женского труда.

²⁷ Я читал две последние поэмы Некрасова... – Речь идет о поэмах «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская», напечатанных под общим заглавием «Русские женщины».

всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блестит... Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится – удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонки... и – и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, – именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какою любовью!) к этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты – не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские. Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла. Вот это какие иногда субъекты. Но все же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-н Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расширяться. Ведь и Диккенс – жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество

на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников – идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», – говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, готовится, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова:²⁸ иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю *nota bene*: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многообразии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности.) Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно, не та, что текущая (жанр), – именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если вообразить прошедшее событие и особенно давно прошедшее, завершённое, историческое (а жить и не вообразить о прошлом нельзя), то событие *непрерывно* представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избежать мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали)

²⁸ Бронников Ф. А. (1827–1902) – профессор исторической живописи, автор упомянутой в тексте картины «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869), написанной в академической манере, на характерный для этого художника возвышенный античный сюжет.

смешать обе действительности – историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь хуже всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей «Тайной вечери», наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, – но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.

* * *

Однако я и забыл о выставке. Впрочем... Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.

Мечты и грезы

1

Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени – *après moi le déluge*.²⁹ Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «... все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит – гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не естественно выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился.³⁰ Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже – что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению – обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, – в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возь-

²⁹ После меня хоть потоп (*франц.*).

³⁰ *Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился.* – Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) – историк литературы, долготелный сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», автор работ по древней и новой русской литературе, истории, общественной мысли, этнографии, фольклору. Речь идет о шестой части («Славянофильство») его труда «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки».

мите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому, впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какую-нибудь все-сжигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, – взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Все это мои мечты, разумеется; но... повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример

на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники – это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, – и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности – один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностью.

Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, – стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение – дешевку и жида. Народ закутил и запил – сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того – для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным – вот чем они окупаются!

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли;³¹ а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим верить, но... если в текущие десять, пятнадцать лет наклонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то – не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее <...>. Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он

³¹ ...бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли... – Имеется в виду памятник герою борьбы против польских интервентов Ивану Сусанину в Костроме.

найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, – вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..

И, слава богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мере, есть признаки; мы уже упоминали об обществах трезвости. Правда, они едва начинаются; попытки слабые, едва заметные, но – но только бы не помешали им развернуться вследствие каких-нибудь особенных поводов! Напротив – о, если бы их поддержать! Что, если б, с своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестью своего долга народу. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель! Я знаю, что я человек непрактический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича,³² в этом даже лестно признаться), но мне – представьте себе – мне воображается, что даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной лишь своей инициативой, захоти только сделать! В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. На учительское место у нас большею частью приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и благородных, усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом – или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Это случалось и, говорят, случается и теперь. Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом восклицает про себя в умилении: «Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагоприятны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще так ему будет казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям! Но оставим его в Америке; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль – напомним ее – в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести, и, может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести...

³² Спасович Владимир Данилович (1829–1906) – известный русский адвокат и писатель.

Нечто о вранье

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэф-фектнее». Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно – не случилось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин?³³ Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит: *нет*, то есть что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего

³³ Боткин Сергей Петрович (1832–1889) – врач-терапевт, основатель физиологического направления в русской клинической медицине.

подобного с ним никогда не случалось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно, так что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не поверить.

«Э, вздор! – скажут мне опять. – Лганье, невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступает в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканых вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гонятся за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского – непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреодолимое; но, в сознании, русские – хотя бы и самые полные самоотрицатели из них – все-таки с ничтожностью своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, – рассуждает русский, – стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под неперменным,

еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя – и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

* * *

«Невинности, старина, говорено уже тысячу раз», – скажут опять. Пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. (Другое дело у себя дома и сам про себя.) Пункт этот – ум, желанье показаться умнее, чем есть, и – замечательно это – отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь *не глупее никого*. «Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей никого». Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе всё еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился пред гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разьевропейский. «Ну Гете, ну Либих,³⁴ ну Бисмарк,³⁵ ну положим... а все-таки и я тоже», – представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то непрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства – то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его, – русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может прийти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим «парадоксом». Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса и, уж конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит – но все-таки его будет дергать, даже при Либихе... Другое дело, если б, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но – кто знает – в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в

³⁴ Либих Юстус (1803–1873) – немецкий химик.

³⁵ Бисмарк Отто Эдуард Леопольд (1815–1898) – государственный и политический деятель Пруссии и Германии. С основания Германской империи в 1871 году до 1890 года занимал пост имперского канцлера. Оказал существенную помощь при подавлении Парижской коммуны. Стронник укрепления Германии под прусской эгидой.

русском человеке дерзости его ученого языка – почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, *лишь только она почувствует себя в публике*, сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения...

Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит... Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров не знакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством» – впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил; тон его взят был слишком высоко и не позволял ему горячиться, из одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», и проч. и проч. – в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя.

Теперь у нас в публике (в вагонах ли, в другом ли месте) разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей – на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят – в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смиренно и почтительно, а говорюны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провести: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, – гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами (к порядочным манерам

наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, – об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждой слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова: он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и всякая другая, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все», – порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили, расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и с милым хихиканьем объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее «один только пар». Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе.

Вот это-то уважение к себе и сбивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, – конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику – а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?»

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они хоть вскользь, а побывали в его голове. Но *ему не было стыдно, ему не было совестно!* Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека – решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, – эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным, твердо установленным мнением. Дома, про себя, – «Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророче-

ством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно *трагичен* образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано – вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, – я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее*, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб *казаться*. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?

Одна из современных фальшей

Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела;³⁶ но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории у меня нет; что взято явление и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая. Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. До известного Нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны – не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?

И вот недавно – впрочем, уже с месяц назад – прочел я в «Русском мире» следующие любопытные строки:

«...нам кажется, что нечаевское дело могло убедить, что *учащаяся* молодежь в подобных безумствах не бывает у нас замешана. Идиотический фанатик, вроде Нечаева, мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи».

И далее:

«...тем более что еще на днях министр народного просвещения (в Киеве) заявил, что после осмотра учебных заведений в 7 округах он может сказать, что *«в последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает»*.

Сами по себе, то есть судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (автор, надеюсь, извинит меня). Но в них есть выверт и старая приевшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что Нечаевы если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики, а если им и удастся найти себе прозелитов, то непременно «только среди праздной, недоразвитой и *вовсе* не учащейся молодежи». Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом собственно автор статейки «Русского мира»: хотел ли он польстить учащейся молодежи? Или, напротив, хитрым маневром и, так сказать, в виде ласкательства думал ее же поднадуть немного, но только с самыми почтенными целями, – то есть для ее же пользы, – и для достижения цели употребил столь известный прием гувернанток и нянюшек с маленькими ребятками: вот, дескать, милые дети, видите, какие *те* нехорошие буяны, кричат и дерутся, и их непременно высекут за то, что они такие «недоразвитки»; вы же вот такие милые хваленые паиньки, за столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам за это непременно гостинцу дадут. Или, наконец, просто-запросто автору захотелось «защитить» нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким?

Прямо скажу: хотя я поставил все эти вопросы, но личные цели автора статейки «Русского мира» не возбуждают во мне ни малейшего любопытства. И даже, чтоб оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый приевшийся выверт выраженной «Русским миром» мысли я склонен считать в настоящем случае чем-то неумышленным и нечаянным, то есть что сам автор статейки совершенно поверил словам своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей беззащит-

³⁶ *Нечаевское дело* – убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, совершенное 21 ноября 1869 года организатором тайного общества «Народная расправа» С. Г. Нечаевым при участии П. Г. Успенского, А. К. Кузнецова, И. Г. Прыжова, Н. Н. Николаева.

ности во всяком другом случае. Но кроме того, что ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид (несмотря даже на то, что является в «Русском мире»), – кроме того, бросается в глаза и то, что никогда еще не являлась она в столь обнаженном, точном и безыскусственном виде, как в этой статейке. Подлинно, заставь иного человека молиться Богу, и он лоб расшибет. Вот в этом-то виде и любопытно проследить эту ложь и вывести ее на свет по возможности, ибо когда-то еще дождешься в другой раз такой безыскусственной откровенности!

Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен в нашей газетной прессе принято за правило «защищать молодежь», – против кого? против чего? – это иногда остается во мраке неизвестности и таким образом часто принимает пребестолковый и даже прекомический вид, особенно при нападениях на другие органы печати в том смысле, что «вот, дескать, мы либеральные, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, вы ретрограднее». Замечу в скобках, что в той же статейке «Русского мира» есть обвинение, прямо направленное на «Гражданин», в том, что в нем будто бы сплошь обвиняют нашу учащуюся молодежь в Петербурге, Москве и в Харькове. Не говоря уже о том, что автор статейки сам *отлично хорошо знает*, что ничего подобного этому поголовному и сплошному обвинению у нас нет и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значит обвинять молодежь поголовно? Я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значит сплошь почему-то не любить всю молодежь, – и не столько даже молодежь, сколько известный возраст наших молодых людей! Что за сумбур? Кто может поверить такому обвинению? Ясно, что и обвинение и защита сделаны сплеча, даже не думавши много. Стоит, дескать, об этом задумываться: показал, что сам либерален, что хвалю молодежь, что ругаю тех, которые ее не хвалят, ну и довольно для подписки, и с плеч долой! Именно с плеч долой – ибо только самый злейший враг нашей молодежи мог бы решиться защищать ее *таким образом* и наткнуться на такой удивительный выверт, на какой наткнулся (нечаянно – я убежден в этом теперь более, чем когда-нибудь) простодушный автор статейки «Русского мира».

В том-то и вся важность, что прием этот не выдумка одного только «Русского мира», а прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы, и там, может быть, он делается уже не столь простодушно. Сущность его, *во-первых*, в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых напаках на всех тех, которые при случае позволяют себе отнестись даже и к молодежи критически. Прием этот основан на смешном предположении, что молодежь настолько еще не доросла и так любит лесть, что не разберет и примет все за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многие из молодежи (мы твердо верим, что далеко не все) действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лесть и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных случаях. Впрочем, тут пока еще вред всего только временный; с опытом и с возрастом и взгляды молодежи изменятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечет уже непосредственный и вещественный вред.

Эта другая сторона приема «защиты нашей молодежи пред обществом и перед правительством» состоит в простом *отрицании факта*, иногда самом грубом и нахальном; нет, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клеветает на молодежь, значит, враг нашей молодежи!

Вот прием. Повторяю, самый злейший враг нашей молодежи не выдумал бы ничего вреднее для прямых ее интересов. Мне непременно хочется доказать это.

Отрицанием факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатов.

Ну что вы тем докажете, господа, и чем облегчите дело, если начнете удостоверять (и, главное, бог знает для чего), что «увлекающаяся» молодежь, то есть те, которые могут «увлечься» (пусть даже и Нечаевым), непременно должны состоять из одних только «праздных недоразвитков», из тех, которые *вовсе* не учатся, – одним словом, из шалопаев с самыми

дурными наклонностями? Таким образом, уединяя дело, выводя его из сферы учащих и сводя непременно лишь на «праздных недоразвитков», вы тем самым уже заранее обвиняете этих несчастных и отказываетесь от них окончательно: «Сами виноваты, буяны и ленивцы, и смирно за столом не умели сидеть». Уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым (а в этом-то и состоит единственная возможная защита несчастных «заблудшихся!»), вы тем самым не только как бы подписываете им окончательный приговор, но даже удаляете от них самое милосердие, ибо прямо удостоверяете, что сами заблуждения их произошли единственно от отвратительных качеств их и что эти юноши, даже и без всякого преступления, должны возбуждать к себе презрение и отвращение.

С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь *деле* оказались бы замешанными вовсе не недоразвитки, вовсе не буяны, болтающие ногами под столом, вовсе не одни ленивцы, а, напротив, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная? (Поймите это слово: *направленная*. Где, в какой Европе найдете вы теперь более шаткости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время!) И вот, по вашей теории «лентяев и недоразвитков», эти новые «несчастные» окажутся уже втрое виновнее: «Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, – нет у них оправданий! Они втрое менее, чем праздные недоразвитки, могут заслуживать милосердия!» Вот результат, прямо выходящий из вашей теории.

* * *

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному только сотруднику «Русского мира»), вы, на основании «отрицания факта», утверждаете, что Нечаевы непременно должны быть идиотами, «идиотическими фанатиками». Так ли это опять? Справедливо ли? Устраняю в настоящем случае Нечаева, а говорю «Нечаевы», во множественном числе. Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность, но – почему же они «идиоты»? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знания, «научки», школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков? Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, по-вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих прегрешению.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», – говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже все прошло*, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное; ибо чрез-

мерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, *в случае если б так обернулось дело?* Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло *так обернуться дело?* Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности.

Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном. *Дело* же петрашевцев – это такое давнопрошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более в таком скользком и отвлеченном смысле.

«Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, – это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные – против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его.

Луи Блана³⁷ напрасно били по щекам и таскали за волосы (как нарочно, густейшие длинные и черные волосы) члены-товарищи его Национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых вырвал его тогда Араго³⁸ (астроном, член правительства, теперь уже умерший), в то несчастное утро в мае месяце 48-го года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников. Бедный Луи Блан, некоторое время член временного правительства, вовсе не возмущал их: он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям, вследствие революции и республики разом потерявшим работу, об их «праве на работу». Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны и, конечно, смешны. Журнал же Консидерана,³⁹ равно как статьи и брошюры Прудона, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет». (Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось, – и вот пока вся формула политического социализма.) Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы

³⁷ Блан Жан Жозеф Луи (1811–1882) – французский политический деятель, публицист, историк.

³⁸ Араго Доминик Франсуа (1786–1853) – французский ученый и политический деятель.

³⁹ Консидеран Виктор (1808–1893) – французский социалист-утопист, ученик Фурье.

еще задолго до парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч. – все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий – а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и *великого* дела». Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!

Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы, господа защитники ее, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете от нее такой стойкости и такой зрелости убеждений, какой не было даже у их отцов, а теперь менее чем когда-нибудь есть. Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в последнее время, – тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла: в предании, в преемстве идей, в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сани европейца под непременною условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!

* * *

Но вы этим слишком общим указанием, кажется, не поверите. «Образование, – твердите вы, – прилежание»; «праздные недоразвитки», – повторяете вы. Заметьте, господа, что все эти европейские высшие учителя наши, свет и надежда наша, все эти Милли,⁴⁰ Дарвины⁴¹ и Штраусы преудивительно смотрят иногда на нравственные обязанности современного человека. А между тем это уже не лентяи, ничему не учившиеся, и не буяны, болтающие ногами под столом. Вы засмеетесь и спросите: к чему вздумалось мне заговорить непременно об этих именах? А потому, что трудно и представить себе, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтоб эти имена, например, миновали ее при первых шагах ее в жизни. Разве может русский юноша остаться индифферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о «русской стороне их учений» пусть мне простят, единственно потому что эта русская сторона этих учений существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подозреваема. Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству; что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново – то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе.

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?... Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем... разумеется опять-таки, если попадет на Нечаева; это уже *sine qua non*...⁴²

Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все

⁴⁰ Милль Джон Стюарт (1805–1873) – английский философ, логик, экономист.

⁴¹ Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882) – основоположник научной теории развития органического мира.

⁴² Непременное условие (*букв. – без чего нет*) (*лат.*).

приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши (я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его.

Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Не гордость, не самолюбие мешали сознаться. А между тем я был, может быть, одним из тех (я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, большею частью, выносит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь? И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, – если и мне, говорю я, было так трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то каково же другим, еще глубже разорвавшим с народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов?..

Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно; да и не идет как-то к фельетонной статье.

* * *

Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконец, ту среду, то общество, в котором она возрастает, и спросите себя: может ли быть в наше время что-нибудь менее защищено от *известных влияний*?

Прежде всего поставьте вопрос: если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями; если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большею частью) отрицание; если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях «общечеловеческих»; если еще в детстве их прогоняли их нянек за то, что те над колыбельками их читали «Богородицу», – то скажите: что можно требовать от этих детей и – гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделяваться одним лишь отрицанием факта?

Недавно я наткнулся в газетах на следующее *entrefilet*:⁴³

«Камско-Волжская газета» сообщает, что на днях три гимназиста 2-й казанской гимназии, 3-го класса, *привлечены к ответственности* по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с *их предполагавшимся бегством в Америку*» («С. – Пет<ербургские> вед<омости>», 13 ноября).

Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром. Но уж в одном том обстоятельстве, что *теперь* это не кажется мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, я *понимаю*, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание!

Оправдание! Боже мой, возможно ли так сказать!

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицере,⁴⁴ бежавшем *пешком*, через Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком? Помните рассказ самого Герцена о том *кадете*, который отправился, кажется, на Филиппинские острова заводить коммуну и оставил ему 20 000 франков на будущих эмигрантов? А между тем все это уже древняя история! С тех пор бежали в Америку изведать «свободный труд в свободном государстве» старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры... разве только что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головками одолели *великие идеи* о «свободном труде в свободном государстве» и о коммуне и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству – добродетелью? А если винить, то в какой же степени – вот вопрос.

Автор статейки «Русского мира» в подкрепление своей идеи, что в «подобных безумствах» замешаны у нас лишь *одни* лентяи и праздношатающиеся недоразвитки, приводит столь известные и отрадные слова министра народного просвещения, недавно высказанные им в Киеве, о том, что он имел случай убедиться после осмотра учебных заведений в 7 учебных округах, что «*последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает*».

Да, это, конечно, слова отрадные, слова, в которых, может быть, *единственная* надежда наша. В учебной реформе нынешнего царствования – чуть не вся наша будущность, и мы знаем это. Но сам же министр просвещения, помнится, заявил в той же речи своей, что еще долго ждать окончательных результатов реформы. Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцов и матерей этой молодежи, принимает все более и более такой странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств – самим быть поменее бессердечными, не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет гражданином, и... хоть иногда сказать правду, если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна.

⁴³ Заметка (франц.).

⁴⁴ Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицере... – Речь идет об очерке русского литератора Василия Ивановича Кельсиева «Из рассказов об эмигрантах» (1869).

Дневник писателя. 1876

Январь

Вместо предисловия

О Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках

...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономии: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слыхали ли вы про такие записочки:

«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил покончить с жизнью...»

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают.⁴⁵ «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального.

И при этом ни одного гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...

И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие. Ну, не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется *я* и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слыхал о том ровно ничего. И, однако, он вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно верить в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших – полное *tabula rasa*,⁴⁶ да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказан в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он осознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе

⁴⁵ Уверяют печатно... что они много думают. – Полемический намек на рассказ М. Е. Салтыкова-Щедрина «Непочтительный Коронат».

⁴⁶ Пустота (букв. – чистая доска) (лат.).

не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? – он обязан лишь *своему лику человеческому*.

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не вздумает попроситься, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно будет.

– О чем это вы заговорили? – спросит меня удивленный читатель.

– Я хотел было написать предисловие, потому что нельзя же совсем без предисловия.

– В таком случае лучше объясните ваше направление, ваши убеждения, объясните: что вы за человек и как осмелились объявить «Дневник писателя»?

Но это очень трудно, и я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие, может быть, так же трудно написать, как и письмо. Что же до либерализма (вместо слова «направление» я уже прямо буду употреблять слово: «либерализм»), что до либерализма, то всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих,⁴⁷ говоря о том, как встретила пресса наша новый 1876 год, упоминает, между прочим, не без едкости, что все обошлось достаточно либерально. Я рад, что он проявил тут едкость. Действительно, либерализм наш обратился в последнее время повсеместно – или в ремесло, или в дурную привычку. То есть сама по себе это была бы вовсе не дурная привычка, но у нас все это как-то так устроилось. И даже странно: либерализм наш, казалось бы, принадлежит к разряду успокоенных либерализмов; успокоенных и успокоившихся, что, по-моему, очень уж скверно, ибо квиетизм⁴⁸ всего бы меньше, кажется, мог ладить с либерализмом. И что же, несмотря на такой покой, повсеместно являются несомненные признаки, что в обществе нашем мало-помалу совершенно исчезает понимание о том, что либерально, а что вовсе нет, и в этом смысле начинают сильно сбиваться; есть примеры даже чрезвычайных случаев сбивчивости. Короче, либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее, связали себя либерализмом как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокоиваться. Ну вот и довольно об этом. Что же касается до того, какой я человек, то я бы так о себе выразился: «*Je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content*», то есть по-русски: «Я человек счастливый, но – кое-чем недовольный»...

На этом я кончаю предисловие. Да и написал-то его лишь для формы.

⁴⁷ ... всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих... – Речь идет о фельетоне «Недельные очерки и картинки» А. С. Суворина, выступавшего под псевдонимом Незнакомец.

⁴⁸ *Квиетизм* (от лат. *quietus* – спокойный безмятежный) – религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному «спасению». Возникло в XVII веке внутри католицизма, было осуждено церковными инстанциями. Переносное значение – созерцательность, бездейственность.

Будущий роман Опять «случайное семейство»

В клубе художников была елка и детский бал, и я отправился посмотреть на детей. Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» – эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, – все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Всё это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей.

В газетах все недавно прочли об убийстве мещанки Перовой и об самоубийстве ее убийцы. Она с ним жила, он был работником в типографии, но потерял место, она же снимала квартиру и пускала жильцов. Началось несогласие. Перова просила его ее оставить. Характер убийцы был из новейших: «Не мне, так никому». Он дал ей слово, что «оставит ее», и варварски зарезал ее ночью, обдуманно и преднамеренно, а затем зарезался сам. Перова оставила двух детей, мальчиков 12 и 9 лет, прижитых ею незаконно, но не от убийцы, а еще прежде знакомства с ним. Она их любила. Оба они были свидетелями, как с вечера он, в страшной сцене, измучил их мать попреками и довел до обморока, и просили ее не ходить к нему в комнату, но она пошла.

Газета «Голос» взывает к публике о помощи «несчастливым сиротам», из коих один, старший, воспитывался в 5-й гимназии, а другой пока жил дома. Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней,

...когда нам новы
Все впечатленья бытия,⁴⁹

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век. Да благословит Господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они любить во всю жизнь свою их бедную мать, без упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. На этот счет общество наше отзывчиво и благородно. Неужели им оставить гимназию, если уж они начали с гимназии? Старший, говорят, не оставит, и его судьба будто уж устроена, а младший? Неужто соберут рублей семьдесят или сто, а там и забудут про них? Спасибо и «Голосу», что напоминает нам о несчастных.

⁴⁹ ...когда нам новы//Все впечатленья бытия... – Перефразированная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон».

Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки Поторопившийся московский капитан

Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать: все это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.

Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платья, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества – непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы. Конечно, на словах не выразят; но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.

Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая середина и бездарность, это уже общий закон: середина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непрременной повадкой вести за собою других и командовать. Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают – не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже, выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать...⁵⁰

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) – вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!

⁵⁰ *Что устрицы, пришли? О радость//Летит обжорливая младость//Глотать...* – Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия (но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков? Девочки особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной будущую «Вуйку», которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на все желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон. Зато есть и такие, которые, о сю пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают.

Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право, нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители.

Но мне все чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то все обошлось бы к полному удовольствию. В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) – толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. Тем не менее мне все нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев.

Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскарade и проч. Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и делают дебош, совсем как у себя дома. Мысль нелепая и фантастическая, – и как я стыдился и упрекал себя за эту мысль еще в детстве! Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были и всегда были, это тип неумирающий; но всё же они более боялись и скрывали чувства, а теперь нет-нет и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве. И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где всё кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, – встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, – свистнуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» Это приятно. Но все же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Кто выведет? Полицейская сила? Нет-с, совсем не полицейская сила, а вот именно такие же самые дикари, как и этот дикарь! Вот она где сила. Объяснюсь.

Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно Сквозник-Дмухановским, Чичиковым и даже, может быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей – в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там, у себя дома, но они их не ценят и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, об котором слышали от Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. Вот почему ему и

дороги европейские формы, хотя он твердо знает, что сам, лично, он не раскается и вернется с европейского бала домой все тем же самым кулачником; но он утешен, ибо хоть в идеале да почтил добродетель. О, он совершенно знает, что все это мираж; но все же он, побывав на бале, удостоверился, что этот мираж продолжается, чем-то все еще держится, какую-то невидимую, но чрезвычайно силою, и что вот он сам даже не посмел выйти на средину и что-нибудь гаркнуть на национальном наречии, – и мысль о том, что ему этого не позволили, да и впредь не позволят, чрезвычайно ему приятна. Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу; все же он тем как бы тоже участвует в культе. Без сомнения, он часто и определить не в силах, в чем состоит этот культ. Хлестаков, например, полагал, что этот культ заключается в том арбузе в сто рублей, который подают на балах высшего общества. Может быть, Сквозник-Дмухановский так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз, хотя Хлестакова и раскусил, и презирает его, но он рад хоть и в арбузе почтить добродетель. И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того – потребность. Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели, – мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью. О, порок ужасно любит платить дань добродетели, и это очень хорошо; пока ведь для нас и того достаточно, не правда ли? А потому и гаркнувший среди залы в Москве капитан продолжает быть лишь исключением и поторопившимся человеком, ну, по крайней мере, пока; но ведь и «пока» даже утешительно в наше зыбучее время.

Таким образом бал есть решительно консервативная вещь, в лучшем смысле слова, и я совсем не шучу, говоря это.

Золотой век в кармане

А впрочем, мне было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился детский бал и начался бал отцов, и боже, какая, однако, бездарность! Все в новых костюмах, и никто не умеет носить костюм; все веселятся, и никто не весел; все самолюбивы, и никто не умеет себя показать; все завистливы, и все молчат и сторонятся. Даже танцевать не умеют. Взгляните на этого вертящегося офицера очень маленького роста (такого, очень маленького ростом и зверски вертящегося офицера вы встретите непременно на всех балах среднего общества). Весь танец его, весь прием его состоит лишь в том, что он с каким-то почти зверством, какими-то саккадами⁵¹ вертит свою даму и в состоянии перевертеть тридцать – сорок дам сряду и гордится этим; но какая же тут красота! Танец – это ведь почти объяснение в любви (вспомните менуэт), а он точно дерется. И пришла мне в голову одна фантастическая и донельзя дикая мысль: «Ну что, – подумал я, – если б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, – во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что, если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, – куда ума! – остроумия самого тонкого, самого сообщительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада,⁵² Дон-Жуана, Лукреций,⁵³ Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?

Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при слове *золотой век*: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверяю вас, что в золотой век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчас, – вы же старший по чину, вам инициатива, – и вот увидите сами, какое пироновское, так сказать, остроумие⁵⁴ могли бы вы вдруг проявить, совсем для вас неожиданно. Вы смеетесь, вам невероятно? Рад, что вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда... А беда ваша вся в том, что вам это невероятно».

⁵¹ ...какими-то саккадами... (от франц. saccade – рывок) – сильный толчок.

⁵² Алкивиад (около 450–404 до н. э.) – афинский политик и полководец.

⁵³ Лукреция – добродетельная красавица, жена римлянина Коллатина. История Лукреции, обесчещенной сыном царя Секстом Тарквинием и заколовшейся кинжалом, рассказана Титом Ливием и воплощена во многих литературных произведениях.

⁵⁴ ...пироновское, так сказать, остроумие... – Прилагательное образовано от имени французского поэта Алексиса Пирона, известного остроумными репликами и едкими эпиграммами.

Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмушая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекающимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол.

...и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал...⁵⁵

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он зарабатывает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят всё – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

⁵⁵ ...и в рот мне водку скверную//Безжалостно вливал... – Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Детство».

Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества

На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети – в том нет сомнения. Кем оскорбленные? Как и чем и кто виноват? – всё это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу.

Я был в колонии малолетних преступников, что за Пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались всё показать. Мы отправились в теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и колония. Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно. Тут до пятисот десятин лесу пожертвовано колонии, и вся она состоит из нескольких деревянных, красиво выстроенных домов, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Все это выстроено на пожертвованные деньги, каждый дом обошелся тысячи в три, в каждом доме живет «семья». Семья – это группа мальчиков от двенадцати до семнадцати человек, и в каждой семье по воспитателю. Мальчиков положено пока иметь до семидесяти, судя по размерам колонии, но в настоящее время, почему-то, всего лишь до пятидесяти воспитанников. Надобно сознаться, что средства употреблены широкие, и каждый маленький преступник обходится в год недорого. Странно и то, что санитарное состояние колонии, как извещали еще недавно в газетах, не совсем удовлетворительно: в последнее время было много больных, а уж как, кажется, хороши бы и воздух и содержание детей! Мы провели в колонии несколько часов, с одиннадцати утра до полных сумерек, но я убедился, что в одно посещение во все не вникнешь и всего не поймешь. Директор заведения приглашал меня приехать пожить дня два с ними; это очень заманчиво.

Директор П. А-ч Р-ский⁵⁶ известен в литературе; его статьи появляются иногда в «Вестнике Европы». Я встретил от него самый приветливый прием, полный предупредительности. В конторе заведена книга, в которую посетители, если хотят, вписывают свои имена. Между записавшимися я заметил много известных имен; значит, колония известна, и ею интересуются. Но при всей предупредительности почтенный директор, кажется, человек очень сдержанный, хотя он почти с восторгом выставлял перед нами отрадные черты колонии, в то же время, однако, несколько смягчая все неприятное и еще неналаженное. Спешу прибавить, что сдержанность эта, как мне показалось, происходит от самой ревливой любви к колонии и к начатому делу.

Все четыре воспитателя (кажется, их четверо, по числу семей) всё люди не старые, даже молодые, получают по триста рублей жалованья и почти все вышли из семинарии. Они живут с воспитанниками совсем вместе, даже носят с ними почти одинаковый костюм – нечто вроде блузы, подпоясанной ремнем. Когда мы обходили камеры, они были пусты; дело праздничное, и дети где-то играли, но тем удобнее было осмотреть помещения. Никакой ненужной роскоши, ничего слишком излишнего, навеянного излишнею добротою или гуманностью жертво-вателей и учредителей заведения, – а это очень могло бы случиться, и вышла бы значительная ошибка. Койки, например, самые простые, железные, складные, белье на них из довольно грубого холста, одеяла тоже весьма нещегоольские, но теплые.

⁵⁶ Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916) – этнограф, путешественник, публицист.

Воспитанники встают рано и сами, все вместе, убираются, чистят камеры и, когда надо, моют полы. Близ иных коек слышался некоторый запах, и я узнал почти невероятную вещь, что иные из воспитанников (немногие, но, однако, человек восемь или девять) и не очень маленькие, лет даже двенадцати и тринадцати, – так и делают свою нужду во сне, не вставая с койки. На вопрос мой: не особая ли тут какая болезнь – мне ответили, что совсем нет, а просто от того, что они дикие, – до того приходят дикими, что даже и понять не могут, что можно и надо вести себя иначе. Но где же они были в таком случае до того, в каких трущобах выросли и кого видели! Нет почти такой самой бедной мужицкой семьи, где бы ребенка не научили в этом случае, как надо держать себя, и где бы даже самый маленький мальчик не знал того. Значит, каковы же люди, с которыми он сталкивался, и до чего зверски равнодушно относились они к существованию его! Этот факт, однако же, точный, и я считаю его большой важности; пусть не смеются, что я этот грязненький фактик «вздуваю» до таких размеров: он гораздо серьезнее, чем может показаться. Он свидетельствует, что есть же, стало быть, до того мрачные и страшные особи людей, в которых исчезают даже всякие следы человечности и гражданственности. Понятно также после того, во что обращается, наконец, эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности из людей. Да, эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые; задача большая.

– Вы не поверите, какими сюда являются дикими иные из них, – сказал мне П. А-ч, – ничего иной не знает ни о себе, ни о социальном своем положении. Он бродяжил почти бессознательно, и единственное, что он знает на свете и что он мог осмыслить, – это его свобода, свобода бродяжить, умирать с холоду и с голоду, но только бродяжить. Здесь есть один маленький мальчик, лет десяти, не больше, и он до сих пор никак, ни за что не может пробыть, чтобы не украсть. Он ворует даже безо всякой цели и выгоды, единственно чтобы украсть, машинально.

– Как же вы надеетесь перевоспитать таких детей?

– Труд, совершенно иной образ жизни и справедливость в обращении с ними; наконец, и надежда, что в три года, сами собою, временем, забудутся ими старые их пристрастия и привычки.

Я осведомился: нет ли между мальчиками еще и других, известных детских порочных привычек? – Кстати напомним, что мальчики здесь от десяти и даже до семнадцатилетнего возраста, хотя принимаются на исправление никак не старше четырнадцати лет.

– О, нет, этих скверных привычек не может и быть, – поспешил ответить П. А-ч, – воспитатели при них неотлучно и беспрестанно наблюдают за этим.

Но мне показалось это невероятным. В колонии есть некоторые из бывшего отделения малолетних преступников еще в Литовском замке,⁵⁷ теперь там уничтоженного. Я был в этой тюрьме еще третьего года и видел этих мальчиков. Потом я узнал с совершенною достоверностью, что разврат между ними в замке был необычайный, что те из поступивших в замок бродяг, которые еще не заражены были этим развратом и сначала гнушались им, подчинялись ему почти потом поневоле, из-за насмешек товарищей над их целомудрием.

– А много ли было рецидивистов? – осведомился я.

– Не так много; из всех выпущенных из колонии было всего до восьми человек (цифра, однако, не маленькая).

Замечу, что воспитанники выпускаются по преимуществу ремесленниками и им прискивается «предварительно» помещение. Прежде паспорта, выдаваемые от колонии, им

⁵⁷ Литовский замок – тюремное заведение в Петербурге.

очень вредили. Теперь же нашли средство выдавать им такие паспорта, из которых нельзя, с первого взгляда по крайней мере, увидеть, что предъявитель его из колонии преступников.

– Зато, – прибавил поспешно П. А-ч., – у нас есть и такие выпущенные, которые до сих пор не могут забыть о колонии и чуть праздник – непременно приходят к нам побывать и погостить с нами.

Итак, самое сильное средство перевоспитания, переделки оскорбленной и опороченной души в ясную и честную – есть труд. Трудом начинается день в камере, а затем воспитанники идут в мастерские. В мастерских: в слесарной, в столярной, мне показывали их изделия. Поделки, по возможности, хороши, но, конечно, будут и гораздо лучше, когда более наладится дело. Они продаются в пользу воспитанников, и у каждого таким образом скопится что-нибудь к выходу из колонии. Работой дети заняты и утром, и после обеда, – но без утомления, и, кажется, труд действительно оказывает довольно сильное впечатление на их нравственную сторону: они стараются сделать лучше один перед другим и гордятся успехами.

Другое средство их духовного развития – это, конечно, самосуд, введенный между ними. Всякий провинившийся из них поступает на суд всей «семьи», к которой принадлежит, и мальчики или оправдывают его, или присуждают к наказанию. Единственное наказание – отлучение от игр. Не подчиняющихся суду товарищей наказывают уже совершенным отлучением от всей колонии. На то есть у них Петропавловка⁵⁸ – так прозвана мальчиками особая, более удаленная изба, в которой имеются каморки для временно удаленных. Впрочем, заключение в Петропавловку зависит, кажется, единственно от директора. Мы ходили в эту Петропавловку; там было тогда всего двое заключенных, и замечу, что заключают осторожно и осмотрительно, за что-нибудь слишком уж важное и закоренелое. Эти двое заключенных помещались каждый в особой маленькой комнатке и взаперти, но нам их лично не показали.

Этот самосуд, в сущности, конечно, дело хорошее, но отзывается как бы чем-то книжным. Есть много гордых детей, и гордых в хорошую сторону, которые могут быть оскорблены этою вечевой властью таких же, как они, мальчиков и преступников, так что могут и не понять эту власть настоящим образом. Могут случиться личности гораздо талантливее и умнее всех прочих в «семье», и их может укусить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти и всегда середина. Да и судящие мальчики понимают ли и сами-то хорошо свое дело? Не явятся ли, напротив, и между ними их детские партии каких-нибудь тоже соперничающих мальчиков, посильнее и побойчее прочих, которые всегда и непременно являются между детьми во всех школах, дают тон и ведут за собою остальных как на веревке? Всё же ведь это дети, а не взрослые. Наконец, осужденные и потерпевшие наказание будут ли смотреть потом так же просто и братски на своих бывших судей и не нарушается ли этим самосудом товарищество? Конечно, это развивающее воспитательное средство основано и придумано в той идее, что эти, прежде преступные дети таким правом самосуда как бы приучаются к закону, к самосдержанию, к правде, о которой прежде вовсе не ведали, разовьют, наконец, в себе чувство долга. Всё это мысли прекрасные и тонкие, но несколько как бы обоюдоострые. Насчет же наказания, конечно, выбрано самое действительное из самых сдерживающих наказаний, то есть лишение свободы.

Кстати, вверну сюда одно странное нотабене.⁵⁹ Мне нечаянно удалось услышать на днях одно весьма неожиданное замечание насчет отмененного у нас повсеместно в школах телесного наказания: «Отменили везде в школах телесное наказание, и прекрасно сде-

⁵⁸ *Петропавловка* – так назывался карцер по аналогии с тюрьмой Петропавловской крепости в Петербурге.

⁵⁹ *Нотабена, нотабене* (лат. nota bene – замечь хорошо) – буквы N. B. или знак NB на полях книги или рукописи, обращающие внимание на данное место в тексте.

лали; но чего же, *между прочим*, достигли? Того, что в нашем юношестве явилось чрезвычайно много трусов, сравнительно с прежним. Они стали бояться малейшей физической боли, всякого страдания, лишения, всякой даже обиды, всякого уязвления их самолюбия, и до того, что некоторые из них, как показывают примеры, при весьма незначительной даже угрозе, даже от каких-нибудь трудных уроков или экзаменов, – вешаются или застреливаются». Действительно, всего вернее объяснить несколько подобных и в самом деле происшедших случаев единственно трусостью юношей перед чем-нибудь грозящим или неприятным; но странная, однако, точка зрения на предмет, и *наблюдение* это по меньшей мере оригинально. Вношу его для памяти.

Я видел их всех за обедом; обед самый простой, но здоровый, сытный и превосходно приготовленный. Мы его с большим удовольствием попробовали еще до прихода воспитанников; и, однако, еда каждого мальчика обходится ежедневно всего лишь в пятнадцать копеек. Подают суп или щи с говядиной и второе блюдо – каша или картофель. Поутру, вставши, чай с хлебом, а между обедом и ужином хлеб с квасом. Мальчики очень сыты; за столом прислуживают очередные дежурные. Садясь за стол, все превосходно пропели молитву: «Рождество твое, Христе Боже наш». Петь молитвы обучает один из воспитателей.

Тут, за обедом, в сборе, мне всего интереснее было всмотреться в их лица. Лица не то чтобы слишком смелые или дерзкие, но лишь ничем не конфузящиеся. Почти ни одного лица глупого (хотя глупые, говорили мне, между ними водятся; всего более отличаются этим бывшие питомцы воспитательного дома); напротив, есть даже очень интеллигентные лица. Дурных лиц довольно, но не физически; чертами лица все почти недурны; но что-то в иных лицах есть как бы уж слишком сокрытое про себя. Сменяющихся лиц тоже мало, а между тем воспитанники очень развязны перед начальством и перед кем бы то ни было, хотя несколько и не в том роде, как бывают развязны другие дети с более открытым сердцем. И, должно быть, ужасно многим из них хотелось бы сейчас улизнуть из колонии. Многие из них, очевидно, желают не проговариваться, это по лицам видно.

Гуманное и до тонкости предупредительное обращение с мальчиками воспитателей (хотя, впрочем, они и умеют быть строгими, когда надо), – мне кажется, не совсем достигает в некоторых случаях до сердца этих мальчиков и, уж конечно, и до их понятия. Им говорят *вы*, даже самым маленьким. Это *вы* показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним. Может быть, мальчики, попав сюда, сочтут это лишь за господскую затею. Одним словом, это *вы*, может быть, ошибка и даже несколько серьезная. Мне кажется, что оно как бы отдаляет от детей воспитателя; в *вы* заключается как бы нечто формальное и казенное, и нехорошо, если иной мальчик примет его за нечто как бы к нему презрительное. Ведь не поверит же он в самом деле, что он, видевший такие непомерные виды и выслушивавший самую неестественную брань, наконец, проворовавшийся до потери удержу, так вдруг заслужил такое господское обращение. Одним словом, *ты*, по-моему, было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяется. Ведь гораздо же лучше, если дети наконец осмыслят, что воспитатели их не гувернеры, а отцы их, а что сами они – всего только лишь дурные дети, которых надобно исправлять. Впрочем, может быть, это *вы* и не испортит мальчика; а если его и скорчит потом от *ты* или даже от брани, которую он услышит опять неминуемо, в тот же самый день, как его выпустят из заведения, то еще с большим умилением вздохнет по своей колонии.

Из неналаженных вещей особенно замечается чтение. Мне говорили, что дети очень любят читать, то есть слушать, когда им читают, по праздникам или когда есть время, и что между ними есть хорошие чтецы; я слышал лишь одного из чтецов, он читал хорошо и, говорят, очень любит читать всем вслух и чтоб все его слушали; но есть между ними и совсем малограмотные, есть и совсем неграмотные. Но что, однако, у них читают! лежит на

столе – я видел это в одной семье после обеда – какой-то том, какого-то автора, и они читают, как Владимир разговаривал с какой-то Ольгой об разных глубоких и странных вещах и как потом неизбежная среда «разбила их существование». Я видел их «библиотеку» – это шкаф, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д., есть несколько полезных путешествий и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтение, если уж оно допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что если б и все наши просветительные силы в России, со всеми педагогическими советами во главе, захотели установить или указать: что именно принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах, то, разумеется, разошлись бы, ничего не выдумав, ибо дело это очень трудное и решается окончательно не в заседании только. С другой стороны, в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни «Севастопольские рассказы», ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если б они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не ценя, потому что все это богатство им упало бы как с неба; они же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей.

Школа тоже находится в совершенном младенчестве, но ее тоже собираются наладить в самом ближайшем будущем. Черчению и рисованию почти совсем не учат. Закона Божия вовсе нет: нет священника. Но он будет у них свой, когда у них выстроится церковь. Церковь эта деревянная, теперь строится. Начальство и строители гордятся ею. Архитектура действительно недурна, в несколько, впрочем, казенном, усиленно русском стиле, очень приевшемся. Кстати, замечу: без сомнения, преподавание Закона Божия в школах – преступников или в других наших первоначальных школах – не может быть поручено никому другому, кроме священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые рассказы из священной истории? Бесспорно, из великого множества народных учителей могут встретиться действительно дурные люди; но ведь если он захочет учить мальчика атеизму, то может сделать это и не уча священной истории, а просто рассказывая лишь об утке и «чем она покрыта». С другой стороны, что слышно о духовенстве нашем? О! я вовсе не хочу никого обижать и уверен, что в школе преступников будет превосходнейший из «батюшек», но, однако же, что сообщали в последнее время, с особенною ревностью, почти все наши газеты? Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно – «трудящийся достоин платы», но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я, конечно, тоже; но как-то все мечтается притом о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья. О, я не идеалист, я слишком понимаю, что ныне времена наступили не те; но не отраднo ли было бы услышать, что духовным просветителям нашим прибавилось хоть капельку доброго духу еще и до прибавки жалованья? Повторяю, пусть не обижаются; все отлично знают, что в среде нашего священства не иссякает дух и есть горячие деятели. И я заране уверен, что такой именно и будет в колонии; но всего бы лучше, если б им – просто рассказывали священные истории, без особой казенной морали и тем

ограничили бы пока законоучение. Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души...

Впрочем, я простился с колонией с отрадным впечатлением в душе. Если что и не «налажено», но есть, однако же, факты самого серьезного достижения цели. Расскажу из них два, чтоб закончить ими. В Петропавловке, в заключении, в наше время сидел один из воспитанников, лет уже пятнадцати; прежде он содержался некоторое время в тюрьме Литовского замка, когда там еще было отделение малолетних преступников. Присужденный поступить в колонию, он из нее бежал, бежал, кажется, дважды; оба раза его изловили, один раз уже вне заведения. Наконец, он прямо объявил, что не хочет повиноваться, за это его и удалили в одиночное заключение. К Рождеству родственники принесли ему гостинцев, но гостинцев к нему не допустили как к заключенному, и их конфисковал воспитатель. Это страшно обидело и поразило мальчика, и в посещение директора он стал ему горько жаловаться, ожесточенно обвиняя воспитателя в том, что тот посылку и гостинцы конфисковал себе, в свою пользу; тут же со злобой и насмешкой выражался об колонии и об товарищах, он всех винил. «Я с ним сел и серьезно поговорил, – рассказывал мне П. А-ч. – Он все время мрачно молчал. Через два часа он вдруг посылает за мною опять, умоляет прийти к нему – и что же: бросился ко мне со слезами, весь потрясенный и преобразившийся, стал каяться, упрекать себя, стал мне рассказывать такие вещи, которые от всех доселе таил, случившиеся с ним прежде; рассказал за тайну, что он давно уже предан одной постыднейшей привычке, от которой не может отвязаться, и что это его мучит, – одним словом, это была полная исповедь. Я с ним провел часа два, – прибавил П. А-ч. – Мы поговорили; я посоветовал некоторые средства, чтоб побороть привычку, ну там и проч. и проч.»

П. А-ч, передавая это, усиленно умолчал, об чем они там между собою переговорили; но, согласитесь, есть же умение проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе правды молодого преступника. Признаюсь, я бы очень желал узнать в подробности этот разговор. Вот другой факт: каждый воспитатель, в каждой семье, не только наблюдает за тем, чтобы воспитанники убрали камеру, мыли и чистили ее, но и участвует вместе с ними в работе. Там моют полы по субботам; воспитатель не только показывает, как надо мыть, но сам вместе с ними принимается мыть и вымывает пол. Это уже самое полное понимание своего призвания и своего человеческого достоинства. Где вы, в чиновничестве например, встретите такое отношение к делу? И если в самом деле, вправду, эти люди решились соединить задачи колонии с своею собственною целью жизни, то дело, конечно, будет «налажено», несмотря даже ни на какие теоретические ошибки, если б таковые и случились вначале.

«Герои, – вы, господа романисты, всё ищите героев, – сказал мне на днях один выдавший виды человек, – и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, – вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, – в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырёх человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это „идеалист сороковых годов“ и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем

может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным⁶⁰ быть подобнее к России и не бросать в нее за все про все грязью».

Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Вот такого типа человек пригодился бы, может быть, и в колонии малолетних преступников... о, разумеется, под руководством более просвещенных и, так сказать, высших руководителей...

Впрочем, я в колонии провел всего лишь несколько часов и мог многое напредставить себе, недоглядеть и ошибиться. Во всяком случае, средства к переделке порочных душ в непорочные нахожу пока недостаточными.

⁶⁰ *Потугин* – персонаж романа И. С. Тургенева «Дым», представлявший, по словам самого автора, «совершенного западника». Отношение Достоевского к этому роману и его персонажу было резко отрицательным. Имя Потугина часто встречается на страницах «Дневника писателя» как символ непонимания России.

Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино Зуд разврата и воробьев. С конца или с начала?

В № 359 «Голоса» мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества:

«И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными».

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги «Обществу», а и человек, русский человек, которого надо образить⁶¹ и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хоть я и очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому «Обществу» дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! Всякое просветительное средство дорого, и желательно лишь, чтобы идея «Общества» стала и в самом деле одним из просветительных средств. Наши дети воспитываются и взрослеют, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. Эта картинка, я уверен, никого даже и не возмутила на улице: «все-де равно их резать везут»; но такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей. Правда, на почтенное «Общество» были и нападки; я слышал не раз и насмешки. Упоминалось, например, что когда-то, лет пять тому, одного извозчика «Общество» привлекло к ответственности за дурное обращение с лошадьёю и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это-то уж, конечно, было неловкостью, потому что, действительно, после такого приговора многие не знали кого пожалеть: извозчика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону, не более десяти рублей. Потом я слышал будто бы о слишком излишних хлопотах «Общества», чтобы бродяжих и, стало быть, вредных собак, потерявших хозяев, умерщвлять хлороформом. Замечали на это, что, пока у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям, такие нежные заботы о собачках несколько как бы режут ухо. Но все подобные возражения не выдерживают никакой критики. Цель «Общества» вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать. Тем не менее, смотря и с другой точки, чрезвычайно бы желательно, чтобы действия «Общества» и вышесказанные «временные случайности» вошли, так сказать, во взаимное равновесие; тогда, конечно, яснее бы определился тот спасительный и благодетельный путь, которым «Общество» может прийти к обильным и, главное, к практическим уже результатам, к результатам действительного достижения цели... Может быть, я

⁶¹ *Образить* – словцо народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорить, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных. (Примеч. авт.)

неясно выражаюсь; расскажу один анекдот, одно действительное происшествие, и надеюсь, что наглядным изложением его яснее передам то, что мне хотелось выразить.

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали с покойным отцом нашим в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», – тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назад, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья). Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают; что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет «всё на этот самый манер», безо всякой вины, бьет ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, Бог пронесет; зато уж всегда подымается опять, как подъезжать опять к станции: начнет примерно за версту и пойдет подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь тебе фельдъегерь шею наkostenялял», а парень, может, в тот же день прибьет молодую жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»...

Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к ответственности за бесчеловечное обращение с своими лошадами, ведь не правда ли?

Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдгегера и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять, уж конечно, слишком односторонне. Вы поймете, что дело идет лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьет, удержав розги на своем суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдгегера, зато есть «зелено-вино». Каким образом зелено-вино может походить на фельдгегера? – Очень может, – тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не зная, чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. И напрасно я рассказал об ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелена-вина с фельдгегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей.

Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей, могущих иметь влияние. Ну что, если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, гложет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, – и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, – все вздор. Беда, если он укрепится в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, – неужели вы думаете, что на народ не действует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают», – и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот

она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проникает все мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч верст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором⁶² этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственною властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, – и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры прорываются в народ непрерывным соблазном, он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым.⁶³ Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да еще с описанием всех душевных его движений. Но теперь я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьев виноват. Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьева, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесят�ерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели тому, молоденький паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вез ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул *перочинный ножичек* и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинился: «Не знаю, как и случилось и как ножичек очутился в руках». И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватило и затянуло, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; – даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.

«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея», – вот эту самую фразу я слышал, но глубоко ее отвергаю. Не будучи сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание мое о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, понимая человеческую и очеловечивающую цель Общества, все же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы. Я знаю и

⁶² *Пропагатор* (франц. propagateur) – распространитель.

⁶³ *Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым...* – Речь идет о реакции Достоевского на нашумевшее в 1873 году столкновение между фельетонистом «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Сувориным и управляющим Орловско-Витебской железной дорогой В. Ф. Голубевым.

верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самим верхним сословием, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, еще раз, приветствую Общество покровительства животным от горячего сердца; а хотел я лишь только высказать мысль, что желалось бы действовать не все с конца, а хоть отчасти бы и с начала.

Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти

Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, – указание впредь. Кстати, словечко о декабристах, чтобы не забыть: извеция о недавней смерти одного из них,⁶⁴ в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; – это не совсем точно. Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец, в известном романе своем «Les Mèmoi– res d’un maître d’armes».⁶⁵ Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол, родной брат казненного. Живы Свистунов и Назимов; может быть, есть и еще в живых.

Одним словом – многое приходится отложить до февральского номера. Но заключить настоящий январский дневник мне хотелось бы чем-нибудь повеселее. Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это – черти, тема о чертях, о спиритизме. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, – и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди.⁶⁶ Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света⁶⁷ утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его. Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей... Если ночью тебя начнет мучить нервическая бессонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку, твори молитву». Подымаются голоса пастырей, и те даже самой науке советуют не связываться с волшебством, не исследовать «волшебство сие». Коли заговорили даже пастыри, значит, дело разрастается не на шутку. Но вся беда в том: черти ли это? Вот бы составившейся в Петербурге ревизионной над спиритизмом комиссии решить этот вопрос! Потому что если решат окончательно, что это не черти, а так какое-нибудь там электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, – то мигом наступит полное разочарование: «Вот, скажут, невидальщина, какая скука!» – и тотчас же все забросят и забудут спиритизм, а займутся по-прежнему делом. Но чтобы исследовать: черти ли это? нужно чтобы хоть кто-нибудь из ученых составившейся комиссии был в силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли между ними найдется хоть один, в черта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в Бога, верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетентна. Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория моя уничтожается сама собой. Вот эту-то теорию я и намерен,

⁶⁴ ...извеция о недавней смерти одного из них... – Речь идет о кончине декабриста Е. Е. Лачинова.

⁶⁵ «Записки учителя фехтования» (франц.).

⁶⁶ ...в хижине дядей Эдди... – Братья Горацио и Вильям Эдди из американской фермерской семьи приобрели широкую известность своими выступлениями в качестве медиумов. Достоевский иронически перефразирует название романа американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

⁶⁷ Гоголь пишет в Москву с того света... – Имеются в виду сообщения в петербургских газетах о московском спирите, которому дух Гоголя диктовал второй том «Мертвых душ» по сожженной рукописи.

в завершение, сообщить читателю. Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать.

Во-первых, пишут, что духи глупы (то есть черти, нечистая сила: какие же тут могут быть другие духи, кроме чертей?), – что когда их зовут и спрашивают (столоверчением), то они отвечают всё пустячки, не знают грамматики, не сообщили ни одной новой мысли, ни одного открытия. Так судить – чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, например, если б черти сразу показали свое могущество и подавили бы человека открытиями? Вдруг бы, например, открыли электрический телеграф (т. е. в случае, если б он еще не был открыт), сообщили бы человеку разные секреты: «Рой там-то – найдешь клад или найдешь залежи каменного угля» (а кстати, дрова так дороги), – да что, это еще всё пустяки! – Вы, конечно, понимаете, что наука человеческая еще в младенчестве, почти только что начинает дело и если есть за ней что-либо обеспеченное, так это покамест лишь то, что она твердо стала на ноги; и вот вдруг посыпался бы ряд открытий вроде таких, что Солнце стоит, а Земля вокруг него обращается (потому что наверно есть еще много таких же точно, по размерам, открытий, которые теперь еще не открыты, да и не сняты мудрецам нашим); вдруг бы все знания так и свалились на человечество и, главное, совершенно даром, в виде подарка? Я спрашиваю: что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, – словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей „среды“, бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» И какие, может, умные и хорошие люди это закричали бы в один голос и, может быть, всех увлекли бы за собою с новинки, и завопили бы, наконец, в общем гимне: «Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!»⁶⁸

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках,⁶⁹ увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы».⁷⁰ Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижении*. Настанет скука и тоска: все сделано и нечего более делать, все известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя

⁶⁸ *Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!* – Цитата составлена из двух различных стихов тринадцатой главы Апокалипсиса.

⁶⁹ *И загнило бы человечество, люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках...* – Образ, заимствованный из Апокалипсиса.

⁷⁰ *...камни, обращенные в хлебы.* – Образ, заимствованный из евангельской притчи об искушении Христа дьяволом в пустыне.

все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым ими вместе со всеми открытиями. И тогда, может быть, и возопиют остальные к Богу: «Прав ты, Господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и бросят волхование... О, никогда бог не послал бы такой муки человечеству! И провалится царство чертей! Нет, черти такой важной политической ошибки не сделают. Политики они глубокие и идут к цели самым тонким и здоровым путем (опять-таки если в самом деле тут черти!).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.